


ДЕТЕКТИВЫ
СЕБАСТЬЯНА ЖАПРИЗО

**ОДЕРЖИМЫЙ
ЖЕНЩИНАМИ**

 ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Себастьян Жапризо

Одержимый женщинами

«Издательство К.Тублина»

1986

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фр)

Жапризо С.

Одержимый женщинами / С. Жапризо — «Издательство
К.Тублина», 1986

ISBN 978-5-8370-0722-4

Новый перевод одного из самых знаменитых романов французского мастера интриги, автора таких романов как «Купе смертников», «Убийственное лето» и других. События развиваются на фоне Второй мировой войны, во Франции, на островах Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. Несколько женщин – от проститутки до адвоката – одна за другой рассказывают о мужчине, которого они одновременно и до беспамятства любят, и люто ненавидят. В какой-то момент читатель уже с трудом верит, что речь идет об одном и том же человеке, – настолько переменчив и многолик образ этого современного Донжуана.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-8370-0722-4

© Жапризо С., 1986
© Издательство К.Тублина, 1986

Содержание

Двадцать часов пятнадцать минут	6
Эмма	8
Белинда	26
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Себастьян Жапризо

Одержимый женщинами

– А если б он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?
– Там, где я есть, конечно, – сказала Алиса.
– А вот и ошибаешься, – возразил с презрением Траляля. – Тебя бы тогда вообще не было! Ты просто снишься ему во сне.
Льюис Кэрролл (пер. Н. Демуровой)

Sébastien Japrisot
LA PASSION DES FEMMES

Published by arrangement with
SAS Lester Literary Agency Sc Associates

Перевод с французского Марианны Таймановой

© Editions Denoël, 1986
© ООО «Издательство К. Тублина», 2020
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2020
© А. Веселов, оформление, 2020

Двадцать часов пятнадцать минут

Внезапно этот молодой упрямец говорит себе, что пойдет туда, и действительно идет.

Он с трудом отрывается от песка, снова встает на ноги, прижимая правую руку к этой дряни, испачкавшей его белую рубашку-поло.

Далеко, насколько хватает глаз, несмотря на слепивший его пот, струившийся по лицу, – или то были слезы усталости? – простираются безлюдный пляж и океан.

В этот час на исходе дня, когда круглый солнечный диск стоит над горизонтом, а на песке валяется забытый детский мяч, тоже красный, как пятно на его белой рубашке, в этот час, когда в ресторанах отелей уже раздаются первые приглушенные голоса, первые поскрипывания отодвигаемых стульев, когда забывчивые дети в незнакомых для них гостиничных номерах с плачем начинают требовать свой мячик, не желая отправляться спать; так вот, вдали от всего живого, на огромном безлюдном пляже слышны лишь крики чаек и плеск набегающих волн.

Этот молодой упрямец – так он себя называет – идет, пошатываясь, вдоль океана, согнувшись от раны, он не знает ни откуда, ни куда он направляется, знает только, что нужно двигаться вперед, шаг за шагом, пока ноги могут его нести, пока он снова не рухнет навзничь.

Сколько раз он уже так падал и поднимался? Он помнит, как лежал ничком на песке, в самом начале, будто в нескончаемом страшном сне. Солнце стояло высоко и обжигало. Он был без сознания, уносился, не двигаясь, в мир нерожденных, лежащих во чреве, но чувствовал, как солнце обжигает спину, чувствовал эту липкую дрянь на своей груди. И тогда, в ту самую секунду, когда он снова собирался открыть глаза, возникло свежее и блаженное видение, уже забытое, но которое ему хотелось бы удержать.

Теперь – один шаг, другой, всей тяжестью тела он устремлен вперед, он понимает, что склон ведет его к пене волн, что ему нужно держаться подальше, иначе при следующем падении вода утянет его за собой, и все будет кончено.

Этот молодой упрямец все равно умрет, так он думает сам. Его уже пожирает адское пламя. Он больше не может бежать. Не может ходить. Если бы он на мгновение остановился – но он не должен этого делать, – если бы мог осмотреться, несмотря на пот и песок, он увидел бы, что ему неоткуда ждать помощи и не к кому обратиться, что он один, а грудь продырявлена выстрелом из ружья, что уже слишком долго жизнь истекает из него через эту рану и что лучшее, что можно сделать, или самое разумное, это повернуть назад, чтобы не утонуть.

Но он не поворачивает, из последних сил наискось пересекает пляж, карабкается по склону, качаясь, словно пьяный, и снова падает.

Сначала он с трудом, задыхаясь, встает на колени. Опирается на руки и на локти, чтобы отвоевать еще несколько метров суши у океана. А потом, понимая, что дальше ему не продвигнуться, он падает навзничь с открытыми глазами.

Даже небо пустынно.

Воображение молодого человека безудержно. «Через час, через два, – думает он, – луна поднимется как раз в эту точку и тогда две луны отразятся в моих потухших зрачках».

«А может, и нет, – говорит он себе. – Через час, через два, волны прилива, влекомые луной, возможно, накроют меня и унесут в океан. Меня никогда не найдут или когда-нибудь какой-то рыбак, невесть где, в любом месте от этого берега и до самой Америки, невесть когда, выудит меня своими сетями вместе с косяками макрели, которые обглодают меня до костей».

Он закрывает глаза.

Пытается вспомнить так понравившийся ему образ, который предстал пред ним, когда он только что пришел в себя, перед тем как поднес руку к груди и обнаружил этот ужас. Но не может.

«Если прилив подхватит его, – говорит он себе, – меня найдут, расспросят тех, кто знал меня. В течение месяцев или даже лет, до тех пор, пока придется отказаться от надежды увидеть меня живым, я останусь в памяти других молодым авантюристом, о котором говорят, понизив голос: тот, что исчез одним летним вечером на этом злосчастном пляже, не оставив никаких следов».

Он с трудом приподнимается на локте, чтобы взглянуть на свои следы на песке, понять, какой путь он прошел. Но песок не сохранил никаких следов – его перемешивает ветер и выливают волны. Он прекрасно помнит детский мяч, который валялся рядом с ним, когда он в последний раз двинулся по берегу, но похоже, что этот мяч существовал только в его воображении или же потерялся из виду, лежит где-то в яме, черт знает где, совсем рядом.

Он снова закрывает глаза, вытянувшись на спине, тихонько дышит. Ему не больно. И даже не страшно. Интересно, как долго он еще будет чувствовать, как у него под рукой бьется сердце? И если повезет, то прежде, чем все замрет – его сердце, заходящее солнце, завихрения галактик, – он снова увидит этот образ, который понравился ему и теперь от него ускользает. Наверное, это видение тоже будут допрашивать, когда скопище макрелей сожрет ему мозг. И вся правда, и ложь, и обман, все это – под мерный стрекот стертых клавиш пишущей машинки секретаря суда – еще больше запутает прискорбную тайну его конца.

А потом, так, этот молодой искатель приключений будто поудобнее устраивается в будущем, чтобы дать волю своему безудержному воображению, он чувствует, как его окутывает аромат олеандров, слышит смех, и внезапно забытое видение снова приходит к нему, такое же сияющее, как и в первый раз, такое умиротворяющее, такое реальное, что он просто обязан считать его знаком свыше.

Светловолосая девушка в платье белого муслина с поразительно счастливым лицом летит прямо на него на качелях, как порыв ветра, у нее голые руки и ноги, лицо озарено солнцем. И когда, достигнув самой высокой точки, она улетает вниз и исчезает, появляется другая, страстная как цыганка, она рассекает ослепительное небо, у нее невообразимо черные глаза, она заслоняет немыслимо жаркое сердце, она возникает и тоже исчезает, чтобы уступить место третьей с осанкой маркизы и дерзко-бесстыдным лицом, облако ее юбок источает запах меда и олеандров.

Его сердце с каждым новым видением замирает все сильнее, он насчитал их уже четыре, пять, он приходит в возбуждение от смелого декольте, обнажающего золотистую грудь, или от промелькнувшей полоски кожи над шелковым чулком, он мог бы насчитать шесть или семь или даже десять девушек, летящих вверх и вниз на качелях, все они останутся в памяти, но он никогда не забудет ту, первую, ее лебединую шею, волнующую гибкость стана, взгляд, приносящий счастье.

«И если я действительно должен покинуть этот мир, то лучше с мыслью о ней», – думает тогда этот распластавшийся на песке молодой человек, которого хранит одна счастливая звезда.

Потому что именно так чаще всего он представлял себя, когда о нем заходила речь.

Эмма

Мне только что исполнилось двадцать.

Я работала художницей в рекламном агентстве – в то время еще говорили «в рекламном бюро», окна которого выходили на порт Сен-Жюльен-де-л’Осеан. У меня еще совсем не было опыта, но все, не сговариваясь, считали меня приветливой и скромной, покладистой с начальством и очень старательной.

Я вышла замуж за управляющего.

На свадебное путешествие нам отвели десять дней в августе, и мы собирались поехать на машине в Испанию. Мой жених, мсье Северен, купил и переоборудовал старый фургон, который в войну использовали как карету скорой помощи. Разумеется, я имею в виду Первую мировую. Позади переднего сиденья были две койки с постельными принадлежностями, основание которых служило одновременно шкафом, рукомойник с бачком для воды, и что-то типа стола для готовки. Мой жених собственноручно перекрасил кузов машины в грязно-желтый цвет, который торжественно именовал художественно-желтым, но поскольку он никогда не имел дела с живописью, то по бокам еще проступали два красных креста.

Свадебный обед проходил в Отель-де-Бэн, там играл джаз-бэнд и проводились игры – призом неизменно был поцелуй. По-моему, я была всем довольна, разве что мой жених, вернее, мой муж ходил от стола к столу с бокалом и по своему обыкновению говорил слишком громко, а я волновалась, ведь нам предстояло двинуться в путь на закате, а он терпеть не мог, чтобы я садилась за руль.

Часов в семь или восемь гости, которые все подходили и подходили, стали направляться на кухню, где принимались за еду с удвоенной силой, при этом шутя и смеясь. Мы воспользовались этим и скрылись. Я поцеловала родителей, которые опускали глаза, чтобы не выдать своих чувств. Я впервые расставалась с ними. У моего мужа не было близких родственников, кроме старшего брата, которого много лет назад во время какого-то спора по поводу лошади муж укусил за ухо, и с тех пор они не общались. Насколько я помню, к моменту нашей свадьбы эта лошадь уже давно сдохла.

Весь день я изо всех сил старалась не испортить свое красивое белое платье, в котором выходили замуж мои мама и бабушка. Одна дама из Ре, которая славилась своим портновским талантом, слегка переделала его в угоду последней моде. У меня осталась фотография, сделанная на ступенях церкви после венчания, я прилагаю ее к своим показаниям, чтобы вы увидели, как изумительно я была одета, несмотря на свои скромные средства, а также, как вы могли догадаться, чтобы показать, какой я была в двадцать лет, всего за несколько часов до тех событий, которые поломали всю мою жизнь. Можете не возвращать ее мне. Мне ни разу не хватило смелости сжечь ее, потому что рядом со мной на ней стоят родители, и я не могу смотреть на нее без слез.

На черно-белом снимке формата почтовой открытки Эмма выглядит довольно высокой молодой женщиной. У нее хорошая фигура, вероятно, голубые глаза, она улыбается с несколько меланхоличным видом. Платье из кружев и атласа действительно очень красивое. Густые волосы уложены в высокую прическу, которая крепится венком из флердоранжа, лоб обрамляют искусно уложенные локоны. Ее супруг, Северен, одетый в серый фрак, – сорокалетний мужчина, коротконогий, с острым подбородком, держится самоуверенно. (Примечания Мари-Мартины Лепаж, адвоката суда.)

Мы двинулись в путь, но, вероятно, никто даже не заметил нашего отсутствия. Я испытала облегчение, поскольку во время всего обеда выслушивала многочисленные шуточки и намеки по поводу нашего предстоящего отъезда. В то время я была довольно робкой.

Мой муж очень устал за день, он давно снял фрак и ослабил галстук. Бросил их на сиденье фургона, когда сел за руль. Я выглядела так же, как утром, разве что распустила волосы и положила венок на колени.

Сен-Жюльен-де-л'Осеан – это бальнеологический курорт, расположенный на оконечности вытянутого полуострова, который называют Коса двух Америк. Сегодня его затмили Фура и Марен, но в то время зимой здесь отдыхало до тысячи человек, а в летний сезон – не меньше пяти... Вдоль всей дороги, ведущей на материк, устричные садки чередовались с пастбищами, которые заливало во время приливов. Помню, что следом за нами в вечерней дымке двигалось огромное красное солнце, скользя по водной глади.

Мы еще не выехали с полуострова, когда уже наступила ночь. Муж, разморенный от вина, не засыпал только потому, что машину трясло на кочках и ухабах. Я не осмеливалась сделать ему замечание, поскольку любые независимые суждения приводили его в ярость, а еще и потому, что мне трудно было отказаться от привычки быть его подчиненной. Наконец он сам с уверенностью хозяина положил руку мне на колено и крикнул – нужно было повышать голос, чтобы расслышать друг друга: «Здесь мы проведем первую брачную ночь, пока я еще на что-то способен!»

Он остановил машину, съехав с дороги, на опушке соснового бора. Мы вышли из фургона, каждый со своей стороны, чтобы войти в него сзади, туда, что он называл «любовным гнездышком». Почти полная луна уже стояла в небе, усеянном звездами. Я на секунду замешкалась, чтобы насладиться прохладой и послушать пение ночных птиц.

Когда я залезла внутрь, Северен зажег керосиновую лампу и надел пижаму, купленную на этот случай: она была ярко-голубая, в черную и желтую полоску, а на ее нагрудном кармашке были вышиты его инициалы. Он сказал мне горделиво и слегка наигранно:

– Я все предусмотрел.

Он открыл один из ящиков под койкой, вытащил бутылку шампанского и два металлических бокала. Мне пить не хотелось, но я пригубила, чтобы не ссориться. Потом, поскольку я молча, не поднимая глаз, сидела на одном из матрасов, он вздохнул:

– Хорошо. Я понял.

Закурил сигарету и вышел из фургона пройтись, пока я раздевалась. Прикрывая дверные створки, которые он оставил открытыми, я увидела, что он пошел и сел где-то неподалеку, на насыпи.

Я расстегнула платье и осторожно сняла его через голову. Вероятно, из-за шуршания ткани у самых ушей я не услышала никакого другого шума, но вдруг почувствовала, как кто-то схватил меня поперек тела и грубо зажал рот. Я даже не успела подумать, что это дурацкая шутка моего мужа. Чей-то чужой сдавленный голос тихо приказал мне:

– Замолчите! Не двигайтесь!

Мне показалось, что сердце выпрыгивает у меня из груди.

Руки, державшие меня, опрокинули меня назад, почти оторвав от пола. При свете лампы я увидела высокого, наголо обритого парня с бородой в грубой полотняной рубаше. От него несло болотом. Я была прижата к нему и только по звуку догадалась, что он запирает дверь фургона.

Затем он лихорадочно прошептал:

– Если будете меня слушаться, ничего плохого с вами не будет.

Он склонился надо мной, его темные глаза не отрываясь смотрели прямо в мои. Я не знала, что сделать, чтобы он понял, что душит меня, но, должно быть, он прочел в моем взгляде, что я слишком испугана, чтобы защищаться, так что убрал руку, зажимавшую мне

рот. Не дав мне времени прийти в себя, он потащил меня, полуголую и задыхающуюся, к водителскому сиденью, продолжая говорить тем же глухим и лихорадочным голосом:

– Вы сядете за руль. Едем.

При этом он успел задуть лампу. Я хотела ответить чистую правду, что почти не умею водить машину, но он перебил:

– Слушайте, что говорят, или я вас убью!

Я перешагнула через спинку сиденья. Он остался позади, сдавив мне шею. Я не помнила, что нужно делать, чтобы завести мотор. Ощупью нашла зажигание. Тогда мужчина перегнулся через мое плечо, пока я оставалась в полной темноте, и включил фары.

Изо всех сил выворачивая руль, чтобы выехать на дорогу, я услышала, как, упав на пол, зазвенели бутылка искристого и бокалы. Мой безумный взгляд выхватил на дороге силуэт мужа. Заслышав мотор, он вскочил со своего места, босиком, и если я не могла разглядеть выражения его лица, то его жуткая неподвижность говорила об охватившем его потрясении. Да простит меня Господь, ну вылитый бедолага, брошенный в свадебную ночь в пижаме неизвестно где.

Мы ехали в сторону материка. Мужчина терял терпение и орал мне прямо в ухо, чтобы я поторапливалась. Я ехала так быстро, как могла, но наша колымага с мотором «как новый» едва выжимала шестьдесят.

При выезде с полуострова начинался тридцатиметровый мост через засыпанный песком морской пролив, который заливает только во время равноденствия, когда приливы особенно высокие. Задолго до моста мужчина велел мне остановиться и выключить фары. Я обернулась, чтобы на него посмотреть. Он сидел на койке, куда я положила свое платье, шнурки его грубых ботинок были развязаны. Его брюки и рубаха из того же толстого полотна были выпачканы грязью.

Он связал шнурки в один, потом внезапно, как кот, вскочил на ноги и сорвал у меня с шеи, сильно дернув, висевшую на ней цепочку. Мне в общем-то не было больно, но я не смогла сдержать крика. Он замахнулся своей устрашающей ручищей:

– Замолчите!

Потом встал, касаясь бритой головой потолка, снял с цепочки золотой медальон и нанизал его на свой шнурок. Это было мое первое в жизни украшение, подарок на крестины. На нем была выгравирована Дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Несмотря на то что было мало света, мужчина действовал очень ловко.

– Вот так, – сказал он, – так будет правдоподобнее.

Он велел мне приподнять волосы. Повесил шнурок мне на шею – медальоном вперед, и я почувствовала, как он затягивает петлю. Он подтянул ее, чтобы я поняла. Жесткой щетиной он прижался к моей щеке, вынуждая запрокинуть голову назад, и почти дружелюбно прошептал:

– Скоро начнут попадаться люди. Постарайтесь быть на высоте. При первом же промахе я задую! По-настоящему!

И мы снова поехали. Не могу выразить словами, в каком я была состоянии. Мне хотелось одного – проснуться. То, что мелькало по обе стороны дороги и было знакомо мне с детства, теперь казалось страшным, как ночной кошмар. Меня трясло от холода и лихорадки одновременно.

Внезапно на фоне неба вырисовался мост. У въезда двигались силуэты с фонарями в руках. Зажглись прожекторы, я затормозила. Я чувствовала, как за моей спиной, лежа на полу, мужчина вжался в койку, а его шнурок, скрытый моими волосами, натянулся у меня на шее. Он спросил меня:

– Сколько их там?

Его голос звучал прерывисто и, как и его руки, ничуть не дрожал. Подъезжая, я насчитала семерых. И сказала ему. При свете моих фар и их прожекторов я увидела, что это солдаты в серо-голубой форме и касках с винтовками и что они перегородили дорогу двойным рядом рогаток. Их командир подошел ко мне, поднял руку, чтобы я остановилась, я узнала его – часто встречала в городе. Это был крупный малый с резкими чертами лица, черноволосый, с перебитым носом боксера: старший унтер-офицер Мадиньо.

Он тоже узнал фургон моего мужа. Подошел к дверце, спросил: «Это вы, Эмма?» Нас освещали безжалостные лучи прожекторов, в которых тени казались совсем черными, да и он сам казался мне нереальным.

Он сказал мне:

– Из крепости сбежал заключенный. Вы не видели ничего необычного на дороге?

Я слегка покачала головой, в основном из-за петли, затянутой вокруг шеи, но это выглядело, как проявление удивления. Я ответила отрицательно, мой голос даже не дрогнул:

– Нам на пути никто не попадался.

На мне, сидящей за рулем, были только коротенькая нижняя рубашка и белые чулки. Не различая выражения его лица, скрытого тенью, падающей от каски, я чувствовала, что он смотрит на меня как-то недоверчиво. Он спросил меня:

– А где ваш муж?

Я сказала:

– Сзади. Он спит.

Я опустила глаза. Сердце билось оглушительно. Не знаю, чего я на самом деле хотела в эту минуту: чтобы он заметил человека, спрятавшегося под койкой, или чтобы он дал нам проехать. Я увидела, что его взгляд направлен внутрь фургона, но лишь на секунду, он не стал наклоняться к окну с моей стороны, снова задержал его на моих голых плечах, приоткрытых бедрах. Наконец прошептал, хотя я так и не поняла хода его мыслей:

– Конечно, это же у вас была первая брачная ночь.

И он отошел.

И снова при ярком свете жестом велел солдатам, чтобы те убрали заграждение. Он сказал мне громко, чтобы скрыть смущение:

– Будьте осторожны, Эмма. Человек, которого мы разыскиваем, просто чудовище. – И, колебавшись, добавил: – Насильник и преступник.

Я открыла рот, возможно, чтобы попросить о помощи, но человек за сиденьем догадался, дернул за шнурок еще сильнее, чем в первый раз, так что голова у меня резко дернулась назад и я закрыла глаза. Старший унтер-офицер, я уверена, решил, что это реакция молодой жены, еще не оправившейся после первой брачной ночи, и стал корить себя, что слишком напугал меня.

Я тронулась с места, сама не знаю как. Проехала мимо солдат в голубом по узкому проходу между грузовиком, накрытым брезентом, и рогатками. Двое или трое из них подняли фонари, чтобы посмотреть на меня, а один, увидев банты из белого тюля, украшавшие бывшую карету скорой помощи, даже выкрикнул:

– Да здравствует новобрачная!

На мосту я набрала скорость.

Через минуту незнакомец выпрямился во весь рост у меня за спиной, и я почувствовала, как шнурок скользнул вокруг шеи. Он сказал, освобождая меня:

– Вы хорошая девушка, Эмма. Ведите себя так же послушно, и скоро все будет в порядке.

Я услышала, как он роется в шкафчиках под койками, а потом он внезапно появился рядом со мной, перешагнув через сиденье, с банкой маминых консервов в руках. Он стал есть, сперва руками, потом рывками запрокидывая банку и вываливая содержимое в рот. Я не видела, что именно он взял, и не чувствовала запаха – так от него разило болотом. Он молча жевал, не отрывая глаз от дороги, вид у него был не менее невозмутимым, чем у какого-нибудь

нотариуса, и поскольку я невольно поглядывала на него, ведя машину, он отвернул от себя мою голову, надавив грязным пальцем на щеку.

Опорожнив банку, он приоткрыл окно и выбросил ее на дорогу. Он сказал мне:

– Я ничего не ел со вчерашнего утра, только несколько устриц, которые смог слямзить. Я разбивал их камнями. – Потом добавил без перехода: – Скоро перекресток. Поверните направо к Ангулему.

Я испытала некоторое облегчение. После заставы нервы были напряжены, в голове – пустота. Я долго выбирала слова, прежде чем осмелиться заговорить. Я знала, что стоит только начать, из глаз брызнут слезы, которые я изо всех сил сдерживала, и он увидит, что я глупая, слабая и боюсь его. Чтобы скрыть это, я стала всматриваться в темноту, стараясь разглядеть что-то в свете фар, и сказала:

– А почему бы вам не оставить меня здесь и не поехать дальше одному? Если вы сами сядете за руль, получится быстрее.

В моем голосе все-таки прозвучали жалобные нотки, и слезы внезапно затуманили глаза.

Он ответил, даже не посмотрев на меня:

– Не говорите ерунды. Не знаю.

Мы углубились в Шарант: либо он хорошо знал эти места, либо изучил по карте перед побегом. Я молчала, а он дремал или делал вид, и только открывал глаза, чтобы сказать мне, куда повернуть, но так и не сообщил, куда именно мы едем. Постепенно я догадалась, что мы не едем никуда. Казалось, он только хотел проезжать спящие деревни, нарушать их тишину. Движения ночью в те времена почти не было, особенно на небольших дорогах, по которым я ехала. Нам навстречу попало всего две машины, но оба раза, видя их приближение, он протягивал руку к рулю и, как сумасшедший, нажимал на клаксон. Потом с довольным вздохом возвращался на койку.

Ни у него, ни у меня не было часов, но он хотя бы мог наклонить голову и взглянуть издали на часы на фронтоне церкви. В какой-то момент, внимательно посмотрев на меня, он сказал на удивление теплым голосом:

– Ладно, через полчаса где-нибудь остановимся и вы сможете поспать.

Но этого не случилось. Через несколько минут на лесной дороге мотор несколько раз захлебнулся и заглох. Кончился бензин. Мы стояли на пологом склоне и он крикнул, чтобы я продолжала двигаться вперед. Ниже он неожиданно велел мне свернуть на грунтовую дорогу, ведущую в лес. При свете фар мне показалось, что мы разобьемся.

Когда фургон, который так трясло, что я подскакивала на сиденье, наконец остановился, мужчина выглядел разъяренным. Думаю, он винил меня в том, что я не предупредила его, что бензин подходит к концу, но я бы тут же ему ответила, что об этом даже понятия не имела. Я была настолько вымотана, что уже не слушала, что он говорит. Мне только хватило сил положить голову на руки, держащие руль, и заснуть.

Мне показалось, что он сразу же начал меня будить, но когда я открыла глаза, уже рассвело. Мужчина стоял снаружи возле моей двери – черные пронизательные глаза, многодневная щетина, лысый череп и одежда каторжника, вымазанная грязью. Кошмар продолжался.

Он сказал, что я проспала три часа и он тоже поспал. Я повернула голову, чтобы взглянуть на «любовное гнездышко». Все вперемешку валялось на полу: еда, одежда, мои кастрюли, все-все. Я смотрела на это сквозь слезы ярости, но он не пошевелился. Он сказал, как будто это было абсолютно естественно:

– Мне нужны были деньги на бензин.

Я крикнула:

– Вы не могли попросить у меня?

Он улыбнулся, и меня удивило, что у него белые зубы, они совсем не шли ему.

Он сказал:

– Я искал многое другое, но не нашел. Только это.

И внезапно он поднес мне к глазам бритву мужа с открытым лезвием.

Я невольно отпрянула. Он закрыл ее очень медленно и сказал мне:

– Давайте, выходите.

Рассветное солнце уже поднималось за деревьями. Я дрожала в короткой рубашке. Мы пошли к задней дверце машины, я совсем ооченела. Тогда он спросил, не голодна ли я или, может, хочу пить или писать.

Я сказала, что хочу что-то надеть на себя.

Он ответил бесцветным голосом:

– Это невозможно.

Я не стала спорить. Сказала ему, подавив гордость, что мне действительно на несколько минут нужно остаться одной. Он указал пальцем на рошцу:

– Вот там! И не забудьте, что я бегаю быстрее вас.

Затем, когда я вернулась, он дал мне стакан теплого кофе и два кусочка шоколада. Он стоял передо мной и не спускал с меня глаз, но я на него не смотрела. Я уставилась на его грубые башмаки, которые он перешнуровал. Я спрашивала себя, сколько времени он еще будет держать меня в плену, сколько времени мы будем топтаться на месте, пока его не поймают.

Когда я допила кофе, он потащил меня к деревьям. Мне даже в голову не пришло, что он хочет убить меня, иначе он не стал бы поить меня кофе, но тем не менее я все больше и больше волновалась.

Он остановился перед дубом, откуда еще была видна машина. На земле лежал кусок материи, которую я узнала, он поднял ее, и я поняла, что это: он разорвал мою одежду и сделал из нее веревку. А для чего ему веревка? Чтобы привязать меня.

Я рванулась назад, закричала. Впервые мне захотелось убежать. Каблуки туфель увязали в мягкой земле, я не сделала и трех шагов, как застряла, и по-идиотски обернулась. Он ударил меня коленом в живот. И, злобно глядя, сказал:

– Даже не пытайтесь! Не смейте больше!

Потом он бесцеремонно подтащил меня к дереву, посадил на землю, руки за спиной, и привязал к стволу. Пока он делал это, я плакала. Я потеряла одну туфлю, он сорвал другую и отбросил подальше. Наконец, засунул мне в рот кляп – кусок простыни – и это больше всего меня напугало.

Но это был еще не весь ужас.

Поднявшись, он отдышался и несколько секунд молча смотрел на меня. А потом как-то странно улыбнулся, поднес руки к ушам и, не поморщившись, содрал, да, содрал всю кожу с головы!

Я заорала, несмотря на кляп, и закрыла глаза.

Когда я осмелилась открыть их, он даже не пошевелился и держал в руках резиновую шапочку или что-то, напоминающее разрезанную надвое камеру мяча, которую он растягивал, проверяя на прочность. И действительно, это была половинка камеры. Волосы у него были зачесаны назад и приклеены клеем.

Он сказал мне:

– Я хитер как лис, вот увидите.

И оставил меня там.

Я видела, как он залезает в фургон. Он пробыл там какое-то время, со своего места мне не было слышно, что он там делает. Я изо всех сил попыталась развязать веревку, но убежать могла бы разве что если бы мне удалось вырвать дуб с корнем и унести на себе.

Наконец мужчина появился снова, подошел ближе на несколько шагов – или он придумал очередную шутку, или передо мной был кто-то другой. Он побрился, светлые волосы падали ему на лоб. Надел белую рубашку-поло, летние брюки, которые удлинит, отогнув манжеты,

мокасины – все это он стащил у моего мужа. В руках он держал бидон, в который насыпают зерно для фазанов, когда идут в лес. Он был похож на автомобилиста, у которого кончился бензин, только и всего. Я ненавидела его.

Он сказал мне:

– Тут неподалеку деревня. Я скоро вернусь.

Я подумала, что сегодня воскресенье и что не так-то просто будет найти бензин.

Я видела, как он удаляется и исчезает из виду. Я не плакала. Я собирала силы, чтобы вырвать дуб с корнем.

Я долго оставалась привязанной к дереву.

Солнце, поднимаясь, проникало сквозь листву, и становилось жарко.

Громко пели птицы. Золотистый фазан пересек поляну. Он только мельком взглянул на меня и продолжал путь, озабоченный своими делами. Я старалась не думать о змеях, о муравьях-людоедах, о несуществующих животных, которые питали мои детские страхи.

К этому времени – было восемь или полдевятого – мой муж, даже в пижаме и босиком, уже давным-давно должен был поднять тревогу. Такой фургон, как наш, выкрашенный в живописно-желтый цвет, в оборочках из тюля, напоминающий многоярусный свадебный торт, не мог остаться незамеченным. Я была уверена, что его уже засекли в нескольких километрах от того места, где мы находились. Все местные жандармы, наверное, уже брошены на поиски. Как знать? Может быть, они уже ищут в ближайшем лесу и могут появиться с минуты на минуту. Нужно было только дышать через нос, так здоровее, и спокойно дожидаться помощи.

Оставалось только одно сомнение, но оно не переставало тревожить меня. Мой муж не видел, как мужчина проник в наше «любовное гнездышко». Он только видел, как фургон неожиданно, необъяснимо сорвался с места, а я была за рулем. Что он подумал своим скудным умом, не способным к сомнению? Я достаточно знала его, чтобы представить себе: он просто решил, что я сбежала, потому что его не люблю – он-то достаточно знал меня, чтобы понять это, – и потому что перспектива провести с ним первую брачную ночь вызывала у меня отвращение. А если это так, то я яснее ясного видела, что за этим последует, – так, будто видела все собственными глазами. На редкость тщеславный и вдобавок раздосадованный унижительной ситуацией, в которой оказался, он не стал стучаться в первый освещенный дом, а, скорее всего, ковылял босиком по обочине до Сен-Жюльена, где он в полном изнеможении, весь в грязи, незаметно прокрался домой часа в три ночи и улегся спать, строя планы мести, чтобы привести их в действие после моего возвращения. Он уверился, что такая размазня, как я, никуда не денется, разве что отсидится денек-другой у тетки, а потом, видимо, заснул и сейчас еще спит, как, впрочем, и жандармы.

Я снова впала в отчаяние, когда неожиданно неподалеку хрустнула ветка. Раздались еще какие-то звуки. Я прислушивалась с замиранием сердца. Кто-то шел по лесу. С кляпом во рту, я могла только хрюкать, как поросенок, правда, намного энергичнее. Свободны у меня были только ноги, и я яростно сучила ими. От волнения и надежды глаза наполнились слезами.

Мгновение спустя на полянке показался лесник, настоящий, с усами, в фуражке, сапогах и с двустволкой. Увидев меня, застыл с открытым ртом.

Потом медленно подошел ко мне, у него под ногами трещали сухие ветки. Он сказал в полном изумлении:

– Бедняжка!

Я захрюкала еще сильнее, чтобы он поскорее освободил меня.

Он прислонил ружье к пеньку, вынул большой клетчатый платок и вытер себе лоб. Потом надел обратно фуражку и наклонился надо мной. Сперва он стал искать узел, чтобы развязать веревки, но в этот момент, как бы лучше выразиться, он увидел меня во всей красе – двадца-

тилетнюю, полуголую, растрепанную, при этом я не могла ни кричать, ни отбиваться, а только умоляюще смотрела на него.

Я увидела, что в нем что-то изменилось, хотя песня была старой, – он лицемерно повторял: «Бедняжка!», а сам тут же засунул свою здоровенную лапу мне между ног, рубашка задралась, когда я молотила ногами. Он восклицал с гнусной радостью:

– Какая мягонькая, ну чисто перепелочка!

Я изо всех сил пыталась защититься, отбиваясь ногами, у него свалилась фуражка. Но ему было на нее наплевать, как и на мое брыкание, на мои сдавленные крики. Негодяй трогал меня своими чудовищными ручищами за все места, лез под одежду, каждое мое движение все больше разжигало его, в конце концов я выбилась из сил и перестала сопротивляться его желанию. Я уже теряла сознание, когда увидела, как он спокойно расстегивает свой ремень. Я поняла, что все кончено, и закрыла глаза.

В ту же секунду я почувствовала рывок, и вдруг на меня перестала давить тяжесть, этот бесноватый куда-то делся...

Надо мной стоял беглец из крепости, в руках – ружье лесника, дулом книзу, а сам лесник катался по земле, стонал и держался обеими руками за голову.

Отдохнуть мне пришлось не больше минуты.

Беглец изо всей силы ударил лесника ногой под ребра и сказал:

– Вставай, гнус!

Тот поднялся на колени. По-прежнему держась за голову, он стонал с закрытыми глазами – похоже, ему было очень больно. Он сумел встать на ноги, но был мертвенно-бледный, и по тому, как он опустил подбородок, я подумала, что, наверное, у него сломана шея или еще того хуже.

Беглец направил на него ружье. И сказал ему жестко:

– Теперь считаю до трех. На счет три будешь убит.

И тут же произнес:

– Раз...

Лесник в ужасе, шатаясь, побежал в заросли, крича от боли и держась за голову. Когда его шаги стихли, беглец поддал ногой его фуражку, валявшуюся на земле, и отбросил ее куда подальше.

Безмятежные птицы снова запели. Он положил ружье и склонился надо мной. Впервые я видела его так близко с тех пор, как он навел марафет; я и вправду сочла бы его красивым, если бы не обстоятельства нашей встречи и те эмоции, которые мне пришлось пережить. Он вынул кляп. Я совершенно искренне сказала:

– Спасибо, мсье.

Я забыла или почти забыла, в какое состояние пришло мое белье и что теперь я была еще оголеннее, чем раньше. Об этом напомнили мне его глаза.

Вместо того чтобы освободить меня, он посмотрел на меня так, что во мне снова вспыхнуло беспокойство. Я поняла, что он видит меня во всей красе: двадцатилетней и т. д., и т. п., и спросила почти беззвучно:

– Мсье, что вы задумали?

Вместо ответа он снова сунул мне в рот кляп.

Медленно, очень медленно он стал ласкать грудь, которую обнажил лесник, и сказал:

– И правда, мягонькая, чисто перепел очка.

Хотя непохоже было, что он издевается. Казалось, он заморожен. Я поняла, что все кончено, и закрыла глаза.

Но дальше он не пошел. Развязал веревки, сначала молча, потом помрачнев, потом сказал мне:

– У меня не было женщины целых шесть лет, но я не из тех, кто берет силой.

Когда он освободил меня, то помог встать на ноги. Мне было больно, но я думала только о том, чтобы не упала рубашка, у которой оборвалась одна бретелька. Я не смела больше смотреть на него. Он поднял мои туфли и передал мне.

Я покорно последовала за ним до старой кареты скорой помощи. Правой рукой он держал ружье лесника, а подмышкой левой – импровизированную веревку. Канистру с бензином он поставил возле фургона. Он наверняка вернулся к началу битвы, раз успел расслышать эту мерзкую фразу насильника, а потом бесшумно подойти и взять ружье, прежде чем вмешаться.

Сделал бы он это сразу, рискуя быть схваченным, если бы пришел позднее, или позволил бы изнасиловать меня у него на глазах, думая лишь о том, как бы завладеть ружьем? Я вспомнила слова унтер-офицера Мадиньо: «Этот человек сам насиловал и убивал».

Заливая бензин в бак, он сказал мне, не оборачиваясь:

– Идите, переоденьтесь. Едем.

В полной прострации я забралась в «любовное гнездышко». Я смогла отыскать чистые трусы, но никакого платья, кроме свадебного – его единственное он пощадил, когда вязал свою веревку. Мне на глаза опять навернулись слезы, но я взяла себя в руки. Я слишком многое пережила, чтобы продолжать вести себя как покорная овца, и решила быть расчетливой и хладнокровной. Я найду способ изменить ситуацию в свою пользу, и тогда он мне за все заплатит.

Я помылась с помощью губки-рукавицы и одеколона. В бачке умывальника уже не было воды, именно в нем, в наглухо запаянном флаконе мой хитроумный муж, который больше всего на свете опасался испанских воров, если не считать итальянских, спрятал деньги на наше путешествие.

В конце концов я натянула свадебное платье, когда появился беглец. Сильными пинками он стал выбрасывать из машины все, что валялось на полу. Затем сгреб в охапку и вышвырнул то, что лежало на матрасах. Я воскликнула, несмотря на данное себе обещание ничему не удивляться:

– Ведь вас разыскивают! Все это найдут.

Он ответил:

– Очень надеюсь.

И с этими словами закрыл дверь. Мне пришлось снова приподнять юбку, чтобы перешагнуть через сиденье.

Мы заправили полный бак на бензоколонке в деревне, бензин заливала вручную древняя старуха.

Хотя мы ее ни о чем не спрашивали, она сама перечислила всех местных жителей, которых подозревала в причастности к Пятой колонне, и добавляла, говоря о каждом:

– К этому-то я приглядываюсь.

Когда мы тронулись, она сказала мне вдогонку:

– Нужно как следует пользоваться мужем, пока он молодой. Потом его отправят в траншеи, и концерт окончен.

Позднее беглец прикончил консервы, приготовленные моей мамой, их он не выбросил, – на сей раз ложкой – и половину колбасы, которую отрезал бритвой. Я съела вторую половину прямо за рулем. Пить было нечего, и еще позже мы остановились возле родника у въезда в деревню, которую я так и не увидела, только услышала полуденный перезвон колоколов. Мы напились вдоволь и заполнили небольшую канистру, не было ни души, мы сорвали тюль с фургона, и мужчина велел мне развернуться. Вместо объяснения он сказал:

– Мы слишком далеко заехали.

Двинувшись в обратном направлении, я терялась в догадках, что все-таки он замышляет, но на первом же перекрестке он приказал свернуть на запад, к океану, откуда мы бежали. Он развалился на скамейке с довольным видом и произнес:

– Меня зовут Венсан. Когда мы вернемся на полуостров, я вас отпущу.

Я ослышалась или он сошел с ума? Я сказала:

– Полуостров? Вы хотите вернуться на полуостров?

Он ответил:

– Это единственное место, где меня не ищут.

Должна сказать, что с этого момента, несмотря на безумную запутанность его маршрута – «Я родился в июле, – сказал он, – поэтому перемещаюсь, как рак» – и несмотря на то, что произошло потом, мы упорно двигались в сторону Атлантического океана.

Я вела машину под палящим солнцем, из-за этого пришлось открыть окна. Я непрерывно убирала волосы, падавшие на глаза. Мы молчали. Иногда я смотрела на него, надеясь, что он заснул. Я больше не боялась его, как раньше. Он уже не казался мне отвратительным. Он смотрел на дорогу, прислонившись к двери, вытянув ноги, спокойный, словно на отдыхе.

В какой-то момент он спросил меня:

– Вы что-нибудь слышали о крепости?

Это был крошечный безымянный островок недалеко от Сен-Жюльена, целиком застроенный укреплениями времен Ришелье. Ее осаждали в эпоху религиозных войн, и в туристических проспектах, которые мне приходилось иллюстрировать, утверждалось, что в осаде именно этой крепости потерял руку живой д'Артаньян. Долгое время я чистосердечно в это верила, пока не подсчитала по буклетам Бруажа, Ла-Рошель, Ре и других крепостей все конечности, которых лишился бедный малый. Все это выглядело так ужасно, что я не могла представить себе, как в таком «окончательном варианте» он мог бы ходить по улицам.

Позднее крепость превратилась в тюрьму для моряков, а после войны – в каторжную тюрьму для военных. Когда я была маленькой, иногда при мне упоминали крепость, я ведь была такой незаметной, что о моем существовании часто забывали, тогда ее называли гробовой, а еще я несколько раз слышала слово «крысоловка», потому что даже крысы не могут оттуда выбраться. А раки, значит, могут?

Я ответила беглецу:

– Я работаю в агентстве в порту Сен-Жюльена. Я часто видела, как на корабле доставляли продовольствие заключенным.

Он долго молчал, потом произнес:

– Самое лучшее в крепости – это кино раз в месяц и два раза на Рождество.

Потом ближе к вечеру он захотел остановиться. Мы были среди полей, ни единого дома вокруг. Я не выключала двигатель, пока он выходил из машины, только сердце забилося сильнее. Он сказал:

– Воспользуйтесь остановкой.

Я ответила, что не хочу. Он взял ружье, собираясь выйти. И просто повернул дуло в мою сторону. Я вышла.

Когда мы ехали дальше, навстречу солнцу, он сказал, словно читал мои мысли:

– Ну убежали бы! Для чего? Мыждемся ночи и попадем на полуостров, когда никто нас не увидит. Я оставляю вас там, где нашел.

Я ответила ему, на глаза у меня даже навернулись слезы, так я старалась выглядеть искреннее:

– Обещаю вам, что не буду пытаться бежать. Но вы прекрасно понимаете, что меня будут допрашивать. Откуда ж мне знать, а вдруг вы решите меня убить?

Он пожал плечами:

– Мне наплевать, будут вас допрашивать или нет. – И снова замкнулся в молчании.

Через час на холмах Шаранты, увитых виноградниками, я не вписалась в крутой поворот. Специально.

Помню, как я бегу среди густого виноградника, подсвеченного пурпурными лучами солнца, спотыкаясь, растерянная, босиком, в подвенечном платье, причем задираю подол, чтобы не упасть.

Бегу от одного ряда к другому, снимая с лица липнувшие в нему пряди, прислушиваясь и не слыша ничего, кроме собственного дыхания, потом еще дальше углубляюсь в лабиринт зелени, убеждая себя, что он остался лежать без сознания среди грохота разбитых стекол, искореженного металла, что не прикончит меня выстрелом из ружья, который я так и не услышу.

Не знаю, сколько времени я так бежала.

Я задыхалась, шаталась, понурившись, и совсем не понимала, куда бреду, так что испытала почти облегчение, когда меня схватили за щиколотку и я стала барахтаться среди комьев земли. Он сидел верхом на мне, не давая двигаться, в ярости, и тоже задыхался, он смотрел на меня ненавидящими глазами, но мне было все равно, он мог бы и ударить меня или даже убить, я была в полном изнеможении.

Он сказал мне негромко, но злобным голосом:

– Вы ничего не поняли! Ничего!

Мы долго, наверное, минуту, пытались отдышаться, прижатые друг к другу в этом противоборстве, молча, глаза в глаза.

Когда мы вернулись к машине, я поняла, что тронуться с места мы уже не сможем. Она стояла поперек канавы, словно вросшая в землю, а левое заднее колесо не касалось поверхности. Сильно помятая дверца висела на петлях, ветровое стекло было разбито, сиденье валялось снаружи.

Я совсем не помнила, как произошла авария, только шум и то, что я изо всех сил сжимала руль перед тем, как это случилось. Как я выбралась из машины, совсем не понятно.

У Венсана была царапина на лбу, у меня болел палец, белое платье испачкано землей, вот и весь результат моего геройства. Мне даже удалось найти туфли, одну – под рулем, другую – на дороге, а он достал из канавы ружье, оно не пострадало.

Мы прятались в винограднике до ночи, опасаясь появления любопытных, и действительно, проезжавший мимо велосипедист замедлил ход возле сломанной машины, но то ли он не был любопытным, то ли плохо видел, но во всяком случае не останавливаясь продолжил путь.

В полнолуние мы залезли в колымагу, причем сперва мы вдвоем потрясли ее, чтобы убедиться, что она стоит ровно. Внутри все было разбросано по полу, почти ничего не пострадало, но стоять на ногах было трудно.

Когда Венсан положил матрас на место, он сел с одного края, я – с другого. Он уже давно остыл, но не хотел мне показывать. Он сказал недовольным голосом:

– Завтра найдем кого-то, чтобы поставить эту развалюху на колеса.

Я не произнесла ни слова после того, как он поймал меня, но у меня тоже возникла потребность говорить, чтобы не чувствовать себя такой потерянной. Я не знала, о чем, и мне не хотелось, чтобы он грубо оборвал меня. В конце концов, единственное, что пришло мне на ум:

– Вы мне больше нравитесь с волосами.

Вопреки ожиданию он рассмеялся, коротко, но удовлетворенно. Он объяснил, что в крепости по договоренности с парикмахером из заключенных в течение двух месяцев он носил поддельную лысину, чтобы после побега сбить с толку преследователей. Я спросила, как ему удалось бежать, но он помрачнел и только ответил:

– Вам не нужно этого знать, Эмма. Это еще может сослужить службу кому-то из приятелей.

Я поискала в шкафах какую-то оставшуюся еду, нашла кусок хлеба, сыр и шоколад. Пока мы ели, я спросила его, могу ли я задать ему личный, возможно, даже нескромный вопрос.

– Давайте, а там видно будет.

Утром он мне сказал, что шесть лет не был с женщиной. Но до этого, на свободе, у него была женщина?

Он встал попить из крана раковины, держась за него, чтобы не упасть, и мне показалось, что он не хочет мне отвечать. Но, усевшись, в молочном свете, проникающем через открытую дверь, с отрешенным видом и размягченным от воспоминаний голосом, он сбросил маску и доверился мне.

– Женщина, которую я больше всего любил, настоящая, первая, – говорил этот молодой человек с верным сердцем, – это моя бабушка.

Она была маленькой и живой, бедной как мышь, смелой как лев, всегда в черном, потому что до конца жизни носила траур по моему деду. Ни летом ни зимой она не выходила из дома без зонтика, разумеется, черного, с деревянной ручкой, инкрустированной перламутром.

Когда я стал учиться читать и писать, именно она приходила вечером встречать меня в коммунальную школу района Бель-де-Мэ в Марселе, недалеко от бульвара Насьональ, где я родился.

Сначала не проходило ни дня, чтобы в шуме и гаме после окончания уроков старшие ученики не окружали меня на тротуаре, стараясь разорвать мои учебники и отколошматить меня, но я уже окреп и давал сдачи кулаками, не слушая, как они дразнят меня: «Макаронщик! Вонючка! Катись к себе, мерзкий итальяшка!»

Случалось, что они брали меня числом, множество рук не давало мне двигаться, но именно тогда наступал самый дорогой для меня момент, когда моя бабушка вступалась за меня: она возникала в солнечном сиянии, пересекала улицу, подобно ангелу смерти, ее глаза горели радостью предстоящего отмщения врагам. Она быстро разгоняла их ударами зонта по ногам, гналась за отставшими, парализованными страхом, с криками:

– Фашистское отродье! Еще раз попадешься – башку проломлю, так что родная мать твоих мозгов не соберет.

Потом она брала меня за руку и уводила домой, испепеляя взглядом женщин, которые стояли рядом, но не решались вмешаться. Она говорила:

– Нет, но бывает...

И мы вдвоем спускались по залитой солнцем улице, торжественным шагом уроженцев Сан-Аполлинаре в провинции Фрозиноне. Я гордился своей бабушкой и ее зонтиком, и поверьте мне, еще ноябрь не начался, а меня стали уважать.

Беглец замолчал, упершись локтями в колени, погруженный в воспоминания, а я не осмеливалась прервать молчание. Я боялась выдать свои чувства.

В лунном свете я видела его так же отчетливо, как днем. Прошлой ночью я бы дала ему лет тридцать, но, кажется, он был моложе. Мне нравились его руки и голос, мне нравилось даже – почему бы сейчас не признаться – то, что мы оказались вместе в фургоне, упавшем в кювет, так далеко от дома, словно на чужой планете.

Я наклонилась вперед и доверчиво прошептала:

– Человек, который так почитает свою бабушку, не может насиловать и убивать.

Он опустил голову с мрачным видом, но не ответил.

Позже, когда мы долго всматривались в темноту, стоя на пороге фургона, он поднял скрученную им веревку и извинился: чтобы поспать, он должен привязать меня. Я ответила, что понимаю.

Лежа на спине, я дала связать себе запястья и щиколотки. Он пошел закрыть дверь. Я слышала, как он укладывается на втором матрасе. Наконец в темноте он сказал мне – и я ждала, ждала этих слов:

– Меня осудили несправедливо.

Я только позже узнала, как он удивился, когда на рассвете увидел на полу мои веревки и пустую постель. Он так резко вскочил, что потерял равновесие и упал. Он подумал: «Предательница!» Был уверен, что я сбежала, чтобы донести на него.

Он выскочил из машины, весь всклокоченный, и обошел ее вокруг. Замер как вкопанный. Я стояла в своем грязном подвенечном платье возле усатого фермера, который держал под уздцы большую лошадь в упряжке.

Я как раз говорила ему:

– Вот мой муж. Это наше свадебное путешествие.

Фермер не произнес ни слова с того момента, когда я нашла его во дворе его собственного дома.

Он выслушал меня, покачал головой, проворчал что-то презрительное и пошел запрягать лошадь. В серых вельветовых штанах, подпоясанных фланелевой тесемкой, рубашке без воротника с закатанными рукавами, он производил впечатление полного мизантропа, причем это явно распространялось на всех и вся.

Он посмотрел на Венсана сверху вниз, так смотрят на чахлый кустик, и наградил его таким же ворчанием, которым приветствовал меня. После чего подошел к фургону и оглядел его. Я робко спросила:

– Думаете, это можно починить?

Но ответа так и не последовало.

Лошадь, понурясь, дотащила машину до фермы. Венсан помог мужику закрепить домкрат. Они сняли одну ось. Я сидела в стороне, на каменной скамейке, и смотрела на них.

Солнце стояло высоко и палило, когда на пороге дома показалась девушка примерно моего возраста с темной шевелюрой, длиннее и гуще моей, она была босиком, из одежды – только рабочий халат, вызывающе, даже хитроумно растянутый. Она явно вылезла из постели. Сперва я подумала, что это дочь фермера. Зевая, она сказала:

– Ну заходите. Мой муж сам справится. К тому же он терпеть не может, чтобы на него глазели, когда он работает.

Обратите внимание на слова: «вызывающе, даже хитроумно растянутый». С этого момента показания Эммы сильно отличаются от ее же собственных показаний, которые она дала жандармам после своего приключения, а в конце даже им противоречат. Очевидно, много лет спустя, когда она уже не боялась, что ее поведение может выглядеть противоречивым, она становится более искренней и в описании событий, и в собственном предвзятом отношении к происшедшему. (Примечание Мари-Мартины Лепаж, адвоката суда.)

Неразговорчивый малый снял все искореженные детали и выровнял их сильными ударами кувалды на кузнечном горне во дворе. Одежда Венсана, мое подвенечное платье и белье сушились на солнце, развешанные на веревке в нескольких шагах от него.

Мы с моим так называемым супругом по очереди помылись в общей комнате, а молодая фермерша Элиза дала каждому по простыне – прикрыться. Мы сидели по обе стороны большого дубового стола, а она приготовила курицу, которую только что зарезала. Она завела, не спросив нашего согласия, граммофон двадцатилетней давности с раструбом и медной ручкой, который снова и снова играл модное болеро «*Напрасны старания, все возможно*» – похоже было, что это не единственная пластинка. Она, не отрываясь, в упор смотрела на Венсана, который отвечал ей тем же. Чуть раньше с нелепыми предосторожностями она промыла перекисью водорода его царапину на лбу и извела целый рулон лейкопластыря, чтобы заклеить требуемые три сантиметра.

Должна признаться, что это был красивый, хоть и ядовитый цветок. Она покачивала бедрами так, что могла закружиться голова. Спереди – сплошной вызов и соблазн. Она стала искушать его с первого момента – то и дело выставляла свои ляжки в разрез халата.

Когда она подала курицу, то сперва положила Венсану, которого называла: «мой красавчик». Она так открыто касалась его, что в конце концов я не смогла сдержаться и сказала:

– Вам не стыдно? Ваш муж рядом!

Он посмотрела на меня взглядом, полным лицемерия, и ответила самым невинным образом:

– А что я делаю плохого? Прекрасно видно, что вы своего мужа не любите. А я не люблю своего. И что делать?

И тут же, не обращая на меня никакого внимания, она стала танцевать босиком в ритме болеро, подняв руки. У нее были влажные губы, ее черные цыганские глаза не отрывали взгляда от глаз Венсана, и она говорила ему:

– Вы знаете, кем бы я хотела быть?.. Такой девушкой, знаете, которая танцует для короля. Там в пещере томится заключенный, она сохнет по нему, а он ее не хочет...

Венсан смотрел и слушал ее с блаженной улыбкой, не выпуская из рук куриного крылышка.

– А я бы танцевала и танцевала, – продолжала она, – пока мне не принесли бы на серебряном блюде его голову...

Уже не помню, возможно, он захолопал.

Сытно поев и выпив вина с виноградников фермера, он посоветовал мне отдохнуть в супружеской спальне, предложенной Лизон, составлявшей одно целое с общей комнатой, а ее муж на дворе продолжал колотить, как сумасшедший, ремонт явно затягивался. Я прекрасно поняла, что оба они старались отделаться от меня, но ничего не сказала, да и в любом случае, что я могла сказать? Что вру с самого утра, что нужно было сообщить в полицию? Конечно, я устала, к тому же меня достали и граммофон, и кривлянье этой девицы, и мерзкий привкус того, что сегодня я бы назвала ревностью.

Когда я осталась одна за закрытой дверью, я села на край высокой кровати – ноги даже не доставали пола. Я чувствовала себя ужасно жалкой и растерянной. Я говорила себе, что можно понять мужчину, который не имел женщин «целых шесть лет» и не устоял перед чарами первой же, предложившей себя, что я должна ненавидеть его за многое, но не за это, и что к тому же, если бы я захотела, прошлой ночью в фургоне или накануне в лесу, мне не потребовалось бы усилий, чтобы завлечь его не хуже, чем она: один взгляд, и он был бы готов. Но все мои мудрые рассуждения не срабатывали, я слышала, как они шепчутся по другую сторону двери, – меня просто-напросто предали.

А потом я их уже больше не слышала, и это было еще хуже. Я метнулась к ним в комнату так быстро, что с меня слетела простыня, в которую я заворачивалась. Их там не было. Я покорно закрыла дверь и грустно вернулась на кровать, тут на улице раздался сдавленный крик, и я кинулась к окну. Через щели закрытых ставен мне была видна только задняя часть дома, выходившего на бескрайние виноградники. Венсан, задрапированный на манер римского императора, гонялся там за Лизон. Я слышала их крики, заглушаемые непрерывными ударами фермерского молота.

Еще до того, как он ее поймал, она полностью расстегнула свой красный халат. Он просто соскользнул к ее ногам. Он так же поступил с простыней. Они остались голые и несколько секунд не отрывали взгляда один от другого, потом кинулись друг на друга и, обнявшись, упали на мягкую землю, смеясь во все горло.

Мне больше их не было видно. Я забралась на стул. Кажется, они дрались и, как дети, мазали друг друга виноградным соком. Сквозь ставни я иногда видела, как среди листьев появлялась то нога, то голова. То, что я видела – или я додумалась до этого, – когда стихли их

крики, – мне наплевать, можете считать меня извращенкой, – мучило и завораживало меня одновременно. Главное, я слышала бесстыжие крики Лизон, словно вторящие ударам молота, доносившимся со двора, и постепенно они совпали по ритму. Говорят, что женщины менее падки на такие зрелища. Вы знаете не хуже моего: это наверняка сказал мужчина.

Несмотря ни на что, мне хватило сил оторваться от окна и выйти из комнаты. Завернувшись в простыню, в туфлях, я пошла во двор забрать свою высохшую одежду. Фермер возле горна даже не посмотрел на меня. Он стучал и стучал среди снопа искр, по нему градом тек пот, и время от времени, словно отвечая занимавшим его мыслям, он издавал свое недовольное ворчанье.

Фургон был готов к отправлению в конце полудня, но без ветрового стекла и двери у пассажирского сиденья.

Венсан заплатил фермеру деньгами моего мужа. Он властно сел за руль, и я поняла, что теперь он берет меня не как шофера, а как заложницу. Сильнее огорчить меня уже было невозможно. Даже если бы он признался, что про бабушку все выдумал, я бы и рта не раскрыла. Он тоже молчал, пока мы не достигли полуострова, только пододвинул меня ближе к себе, поскольку кабина с моей стороны была открыта и он боялся, что я выпаду на каком-то крутом повороте. Я не шелохнулась. Порывы теплого ветра играли моими волосами и оглушали меня. Мне казалось, что они очищают меня от всего...

Мы остановились перед мостом, солнце било в глаза. Было видно, что заграждения сняли, но Венсан на всякий случай прыгнул назад и достал спрятанное в шкафу ружье. Мне пришлось снова сесть за руль. Он сказал мне:

– Я знаю, Эмма, что вас подмывает сделать глупость, лучше не надо.

Это была просьба.

Мы пересекли пролив, не встретив никого по пути. Сразу же после этого он велел мне свернуть с главной дороги, по которой мы ехали позавчера, и двигаться вдоль океана. Купальщики возвращались по домам на велосипедах. Целый летний лагерь маршировал по обочине, дети явно устали, надышавшись свежим воздухом.

Мы остановились в дюнах над безлюдным пляжем. Спустились к песку. Венсан снял мокасины и попросил меня подождать его, он хотел пойти на разведку. Я смотрела, как в рубашке-поло и брюках, отглаженных фермершей, он удаляется по направлению к желтым скалам, где я часто играла в детстве. Их еще, непонятно почему, называли «Морские короны». Вероятно, он велел ждать его, только чтобы оттянуть момент, когда я пойду за жандармами. А может быть, наоборот, он оставлял мне последний шанс сказать им, что я от него сбежала. Но мне хотелось задавать вопросы, и я осталась ждать его.

Когда я увидела, как он возвращается, я сидела на дюне в своем подвенечном платье, солнце превратилось в красный шар, лежащий на линии горизонта, и, казалось, единственными звуками в этом мире были крики чаек и плеск прибоя. Венсан рухнул на песок рядом со мной. Надевая мокасины, он сказал мне, возбужденный, с горящими глазами:

– За этими скалами в бухточке стоит большая белая яхта. Если я сумею забраться на борт, то уплыву далеко, на край света. И меня никогда не найдут.

Он увидел, что по моей щеке катится слеза. Он пробормотал, сбитый с толку:

– Да что с вами?

И я ответила, не шевелясь, не глядя на него:

– Возьми меня с собой.

Он вскочил, как чертик из коробочки:

– Что сделать?

У него не хватало слов сказать мне, что я сошла с ума. Единственное, что пришло ему в голову:

– А ваш муж?

Теперь, глядя прямо ему в глаза, я повторила очень тихо:

– Возьми меня с собой.

Он нервно потряс головой, но я поняла, только для того, чтобы скрыть волнение. Он стоял прямо в лучах ярко-красного солнца и сказал мне:

– Вам двадцать лет, Эмма.

Будто я сама этого не знала. Потом он пошел к фургону, остановился. Открывая заднюю дверь, он бросил мне:

– Как вам кажется, почему до сих пор я вас щадил? Потому что ни за что на свете я не посягну на вашу невинность.

С этими словами он исчез в «любовном гнездышке», наверное, чтобы забрать ружье, которое было ему нужнее, чем мне.

Я поднялась и, сжав кулаки, пошла к машине. Я прислонилась к кузову, чтобы не видеть, как он отреагирует на то, что я ему скажу, чтобы не выказать кипящий во мне гнев, от которого дрожал голос. И я открыла ему всю правду.

Поговорим теперь о моей невинности.

Когда я пришла на работу в бюро год назад, куда меня нанял управляющий мсье Северен, помимо аттестата об окончании начальной школы и диплома художественной школы Руайана, мне больше нечем было гордиться. Мой будущий муж был человеком с острым носом, властной походкой, и чтобы казаться значительнее, он держался довольно агрессивно. Я несколько раз сталкивалась с ним в Сен-Жюльене, но обращала на него столько внимания, сколько он заслуживал. Проще говоря, никакого.

С первой же недели он находил предлоги, чтобы вечером задержать меня после работы. То нужно исправить макет, то переделать иллюстрацию, то он придумывал что-то еще. Сперва он ограничивался комплиментами по поводу моих нарядов, цвета моих глаз – это меня уже смущало, потому что, чтобы посмотреть на них, он брал меня за подбородок. Но очень скоро он осмелел и стал шлепать меня по задку, трогать за грудь, уверяя, что за этим ничего не кроется, поскольку он вдвое старше меня.

Я не осмеливалась протестовать, но с каждым днем, когда приближался час окончания работы, я все больше и больше волновалась, а по ночам не могла заснуть от навязчивых мыслей. Я не могла никому довериться. Была слишком робкой, чтобы завести друзей, а родители бы просто ничего не поняли. Для них мсье Северен был человеком уважаемым, им было лестно здороваться с ним на улице, и в любом случае он заслуживал признательности, поскольку взял меня на работу.

Как-то в ноябрьский вечер, когда по окнам хлестал дождь, он обнял меня за талию и попытался поцеловать. На сей раз я стала вырываться, но чем больше я старалась высвободиться, тем больше он распалялся в этой рукопашной, не заботясь о моей одежде, и в конце концов я расцарапала ему лицо.

Мне удалось отскочить за письменный стол, так что он оказался между нами. На нем стояла единственная горевшая в комнате художников лампа. Мсье Северен громко дышал, лицо у него пылало, и, приводя в порядок одежду, я в ужасе заметила на его щеке четыре кровоточащих отметины, оставленных моими пальцами.

Когда он смог заговорить, он сказал со злобой:

– Мерзкая кокетка! Ты ведь понимаешь, что мне недолго тебя уволить?

Он взял на моем столе проект объявления, которое я закончила. Даже не взглянув, разорвал его на куски, бросил их на пол и произнес с улыбкой гиены:

– Никуда не годится.

Назавтра и в последующие дни – та же история. Он сухо приказывал мне, в присутствии остальных, остаться после работы и закончить проспект. А когда мы оставались одни, начинал мучить меня. Ему наплевать было на мои мольбы, он прижимал меня к себе, задирает мне юбку, нашептывал на ухо непристойности, и мне огромного труда стоило вырваться из его лап. Потом он рвал мои рисунки со словами: «Никуда не годится!»

Я пригрозила, что пойду к начальнику, хотя, увы, тот в бюро вообще не появлялся. Он только мерзко рассмеялся в ответ: интересно, кому поверят – мне или ему? Я просто прослышу истеричкой, только и всего.

Не знаю, можно ли сейчас это понять, но тогда было время экономического спада, забастовок, безработицы. Мои родители, которые завели меня достаточно поздно, были пожилыми и бедными. Мне было страшно, что я не смогу найти работу. И однажды вечером я отдалась ему на растерзание, лежа прямо на чертежном столе. Пока он по-скотски овладевал мною, стоя между моими свисающими со стола ногами, я плакала, но не от боли, ее я не чувствовала, а от стыда.

Невинность?

В течение многих месяцев каждый вечер в бюро или у него дома – раз уж мы начали – я ложилась на спину, на живот, становилась на четвереньки, покорно выполняя все его желания.

Мне еще не было двадцати, а я была такой же невинной, как подстилка.

– Мерзавец, какой мерзавец! – кипит от возмущения, кричит Венсан, вышагивая по колымаге. Он сел, чтобы успокоиться. Я подошла, вытирая слезы со щек. Одно он не мог понять:

– И ты вышла за него замуж?

Я грустно ответила:

– Он так потребовал. Чтобы я принадлежала ему целиком и полностью. Ты же знаешь, как это бывает в маленьких городах.

– Мерзавец, какой мерзавец! – снова громко завел Венсан.

Я не могла этого выдержать, обхватила его руками за шею:

– Вот именно! Отомсти за меня! Давай его накажем!

Не знаю, каким волшебством, но в своем порыве я оказалась у него на коленях. Я целовала его, прижималась к нему, с удивлением увидела, что мои руки скользят под его рубашкой. Какая нежная у него кожа и как прекрасно, когда наконец тебе хочется любить! Да простит меня небо, я забыла про всякий стыд и стонала, уткнувшись ему в шею:

– Прошу тебя, прошу, сделай со мной то, что ты сделал с этой Лизон!..

Еще под впечатлением от моей исповеди он старался сдержаться, пересилить себя, но очень быстро я нашла губами его губы, он сжал меня в объятиях, и я почувствовала, что вот-вот прорвется так долго сдерживаемый поток желания. Мы продолжали целоваться, весь мир качался вместе с нами, и наконец мы рухнули поперек койки. Одна рука у меня на спине растегивала свадебное платье, другая, сладостно властная, поднималась по бедрам. Я поняла, что все кончено. И закрыла глаза.

Почти тут же, увы, Венсан выпрямился, прислушиваясь и глядя в одну точку. Он спросил меня голосом без выражения:

– Слышала?

Я не поняла, что именно. С пылающими щеками, в платье, вздернутом до талии, я стала прислушиваться вместе с ним. Не было слышно ничего, кроме волн. Однако он с ужасом сказал:

– Собаки!

Рывком вскочил и закричал, срывая со лба лейкопластырь:

– Они меня нашли! Они окружают!..

Он оглядывался, словно не зная, на что решиться. Потом его глаза остановились на мне. На короткий миг я увидела, как в них промелькнули грусть и сожаление. Он прошептал:

– Так точно лучше. Прощай, Эмма.

Когда он повернулся к открытой двери, я крикнула:

– Нет!

И тщетно попыталась схватить его за ноги. Я упала с койки, а он выскочил наружу. Как судьбоносную вспышку я увидела ружье лесника на матрасе. Схватила его, еще не встав на ноги, и бросилась следом за Венсаном.

Он скатился в песок, перепрыгнув через дюну, но поскользнулся и замешкался. Я крикнула, спускаясь к нему, волосы лезли мне в глаза:

– Нет, Венсан, умоляю!.. Остановись!..

Он не остановился, даже не обернулся. Я нажала на один из двух курков. Не помню, сделала ли я это специально. Я, наверное, потеряла равновесие, запуталась в расстегнутом платье, зацепилась каблуком, и пуля полетела наудачу в лучах красного солнца. Я впервые держала в руках ружье. Выстрел, которого ни я, ни Венсан не ожидали, спугнул тысячи чаек на берегу.

Он повернулся ко мне лицом – молча, глаза вылезали у него из орбит. Продолжая идти к нему, я сказала умоляюще:

– Ты не можешь вот так меня бросить! После того как я все тебе рассказала! Это невозможно, понимаешь?!

Теперь вдали за дюнами, в сосновом лесу, который тянулся в сторону города, явственно слышался собачий лай.

Не спуская с меня глаз, Венсан начал шаг за шагом отступать к желтым скалам. Он крикнул мне с ужасом:

– Они меня схватят, ты что, не видишь? Сумасшедшая, из-за тебя меня схватят!

Он пятился все быстрее и быстрее, в отчаянии размахивая перед собой руками, чтобы я опустила ружье. Я прочла в его взгляде, что он хотел бы, чтобы я исчезла, чтобы меня не существовало, и нажала на второй курок. Сквозь слезы я видела, как его отбросило выстрелом, из груди хлынула кровь, и он упал навзничь на песок, раскинув руки.

Я замерла от ужаса с ружьем в руке. Внезапно повсюду стало тихо. Ни лая, ни криков чаек. Я даже не слышала собственного дыхания.

Не знаю, как долго длилась эта пустота.

Когда ко мне вернулись силы, повернулась, бросилась назад к фургону и уехала как можно дальше.

Вот так все и произошло. То, что я потом сказала жандармам и старшему унтер-офицеру Мадиньо, ничего не значит, кроме того, что я не знала тогда и до сих пор не знаю, почему я стреляла. Может быть, чтобы не застрелиться самой.

Продолжение вам известно лучше, чем мне, и что стало со мной, никого не интересует, но я хочу ответить на все ваши вопросы, даже притом, что последний показался мне страшно обидным. За все два дня, что мы провели в пути, Венсан не упомянул ни про наследство, ни про завещание, я бы запомнила. Единственная ценность, которую я видела у него, – это плоское золотое кольцо на левой руке, вас удивило, что я раньше его не упомянула.

На самом деле я его заметила еще в момент похищения, когда он зажал мне рот рукой. Потом я об этом с ним говорила, потому что удивилась, что его у него не отобрали за все эти годы, проведенные в крепости. Я отвечаю так, как ответил он: он только сказал мне, что это обручальное кольцо деда, что его отдала ему бабушка, чтобы не чувствовать себя вдовой, и чтобы его снять, пришлось бы отрезать ему палец.

Белинда

Когда это случилось, мне шел двадцать четвертый год. Дело было в августе, а родилась я в сентябре, то ли 28-го, то ли 29-го, никогда не знала точно. Меня, новорожденную, нашли возле мертвой матери в одном из пляжных домиков, где держат шезлонги и матрасы. Родила меня она одна, никто не помогал. Я так долго кричала, что прямо надорвалась. Короче, они поставили в протоколе 28 или 29, какая уж там точность! Неважно, зато про меня дважды писали в газетах, тогда это был первый.

За двадцать четыре года про меня больше никто не вспомнил. Я ведь была чистый ангел, да и только. Когда я прославилась во второй раз, то уже вкалывала в борделе, правда, очень шикарном и известном по всей округе. Цветы в вазах по двадцать франков за букет. Отдельная ванная с бирюзовым кафелем и серебряными кранами. Кровать под балдахином, завешенная прозрачным пологом, – для романтики и от комаров. Балкон выходил прямо на океан. Называлось заведение «Червонная дама». А раз вы такого не знаете, значит, в жизни ничего не видали.

Цены мне не было – трудолюбива как пчелка, ну и сладкая, сплошной мед. Пока я еще жила в Париже, я брала уроки, училась говорить правильно. Целых три недели, просто ум за разум зашел... А втянул меня в это дело один херувим с панели, такой проходимец, что мог надуть любого, а уж девицу, только что принявшую первое причастие, и подавно. Повстречалась я с ним на вокзале Монпарнас, когда приехала из Бретани. Сама я не бретонка, тот домик с шезлонгами был в Ницце.

Я наведалась в Перро-Гирек повидать подругу по приюту. Она там промышляла и хотела меня туда протолкнуть. Имя ее было Жюстина, а все звали Дездемоной. С тех пор как я стала по ней сохнуть, я прозвала ее Демоной. Как-то в воскресный полдень в приютской спальне она довела меня до такого экстаза, так что я даже орала. Совсем были непохожи – я долговязая, а она пухленькая и до того простодушная, что ей можно было втюхать что угодно. Мы погуляли по Перро-Гиреку, меня пытался взять на абордаж ее сутенер, но я поняла, что это не по мне, и уехала. В газете «Добрый вечер» гороскоп Весов не сулил ничего хорошего до следующего номера, но у Весов все в равновесии – не успела я ступить на парижскую платформу, как любовь моей жизни выхватил у меня чемодан, что тут добавить?

Любовь моей жизни по прозвищу Красавчик, в которого я втюрилась с первого взгляда и на все следующие четыре года, был у меня единственным, неповторимым: бурные ночи, долгие дни ожидания. Урод редкостный, прямо плакать хочется, ниже меня на голову, но крепыш и такой живчик, даже во сне дергался. Чистый комок нервов. Мне тогда было на самом деле шестнадцать, восемнадцать по документам, а ему немногим больше, по крайней мере, сперва. Потом уже я вычитала в старой ведомости, где он значился электромонтажником, что добрых шесть годков он от меня утаил. Когда я ему это высказала, пчелы ведь тоже жалить могут, раз – и схлопотала, и второй – для острастки, чтобы научилась считать правильно. Да, Красавчик умел разогреть, как следует, но мне это и было нужно, в ту зиму, когда я топталась на улице Делаамбр. Колотун был, как у эскимоса в заднице, даже вино застывало в витринах. Не сойти мне с этого места. А раз вы такого не знаете, значит, в жизни ничего не видали.

В феврале буржуи носу не высовывали, рабочих на улице убивали, и, бывало, целыми днями мне даже ноги раздвигать не приходилось. Вот тогда-то Красавчик и решил вложиться в хорошее дело и научить меня говорить по-человечески, было это на чердаке с видом на кладбище дома 238 по бульвару Распай. Учитель мой, как звать, забыла, был пенсионер, чистенький такой, всегда при галстуке и в целлулоидном воротничке. Он мне говорил:

– Подлежащее, сказуемое, дополнение, точка.

Жизнь у него была несладкой. Жену в тридцать лет переехал фиакр, сын умер годом раньше, оба похоронены прямо у него под окнами мансарды, и война, война. Чтобы заплатить

за урок, я перед уходом старалась, как могла, прямо в кресле, но он никогда не кончал – беззвучно плакал, вспоминал... Красавчик, который всегда хвалился, что ничего никому не должен, предложил ему денег или другую девушку вместо меня, но старик не захотел.

Когда я выучилась прилично говорить, мы, птицы перелетные, двинулись прямо в мои края, жили в Каннах и Болье. Я обслуживала гостиничные бары, роскошные приемы для иностранных коммерсантов. Неплохо, но не более того. На Красавчика солнце навело тоску. Он хотел, чтобы я стала настоящей дамой и вкалывала в шикарное заведение, где требуются манеры не хуже, чем у Марлен Дитрих, а место гарантировано, как у какой-нибудь секретутки в компании железных дорог. Последней каплей для него стало то, что он едва не попался.

Нет, не в полицию нравов, похуже. Он говорил мне, что от военной службы его освободили. С сердцем будто что-то не так... Когда он в постели доводил меня до криков, то я тут же прикладывала ухо к груди, вдруг биться перестанет? Нет, работает ровно как часы. Конечно же врал. Как-то вечером он вернулся белый как простыня в наш номер гостиницы «Тамариск» в Болье. Велел паковать вещи. Ода ясновидящая наговорила ему, что его вот-вот загребут в армию. Оказывается, он был так же освобожден от службы, как какой-нибудь выпускник военного училища Сен-Сир. В двадцать лет он даже медицинское освидетельствование не прошел. Клянусь. С тех пор он не выносил серо-голубого неба, потому что оно напоминало ему о цвете мундира, и ходил к гадалкам, чтобы его предупредили об опасности.

Вот так мы и взяли курс на юго-восток, а я пошла работать в «Червонную даму» недалеко от Сен-Жюльена-де-л'Осеан, на сказочном полуострове, покрытом сосновыми лесами, под названием Коса двух Америк. В январе в воздухе стоит аромат мимозы. Небо, как на юге, но к тому же есть устрицы. Я жила там, как в раю, несколько месяцев, пока наконец Красавчика не поймали.

Помню чудесные воскресные дни до того, как его забрили в солдаты. Он жил в Рошфоре, ни в чем себе не отказывал, мог приезжать проводить меня на своем белом авто, когда ему вздумается. А желал он два раза в месяц, иногда чаще, и никогда не заходил в «Червонную даму». Он был выше этого, а кроме того, мог столкнуться там с офицерами в штатском, навещавшими нас. А еще Мадам, несмотря на свою доброту, не хотела его видеть. Он даже затеял целую интригу, чтобы я получила место. Она-то брала к себе только девушек высокого полета, которые умеют вести себя в обществе, выдавать «невзирая ни на что» и «как бы то ни было» по любому поводу, прочитанному в утренней газете, отправляться в туалет походкой герцогини Виндзорской, короче, все это впикивают в них еще с пеленок в частных школах, а я, закончив все свое обучение, не поднялась выше уровня табурета в баре «Карлтона», и то всего на два вечера, до того как они раскусили, что я не дотягиваю, и меня погнали.

Но я сказала: я девушка порядочная, на скандалы не нарываюсь, нос никуда не сую, всегда в хорошем настроении, и если уж начистоту, то на какой аршин меня не мерь, нет во мне ни избытка, ни недостатка. Невзирая на то, что Мадам считала, что я малость не отесана, она быстро взяла меня под крыло, как своих девочек. Я одевалась так, чтобы ей угодить, следила за словами, старалась не выпячивать свои буфера, как эти давалки на улице Далмар, короче, все больше и больше походила на мечту Красавчика, включая манеры а-ля Марлен Дитрих. Как бы то ни было, но Мадам все равно не желала его видеть. По воскресеньям, когда он выводил меня погулять, он всегда ждал меня в саду.

Мы ходили обедать в самый шикарный ресторан Сен-Жюльена «В открытом море», недалеко от порта – есть омара в белом вине, у него там был свой столик на террасе. А днем гуляли. Я вижу его, как сейчас, в белом костюме из шерсти альпака, белых туфлях, на голове канотье, во рту сигара, и выражение королевского презрения на лице. Я плелась позади в метре от него, под куполом из пальм, росших вдоль океана, в шелковом костюме, тоже белом, и такой же шляпе, с зонтиком, чтобы защитить свою белоснежную кожу. Конечно, случалось, у него были свои тараканы. Он резко поворачивался и кидал мне:

– До чего мы друг другу осточертели! Сил нет!.. Нет, ты только посмотри на свою рожу! Копировал придурковатое выражение лица Минни у Диснея. И кричал:

– Черт, мне всё осточертело!

Раз – и схлопотала, и второй – для остротки, чтобы ему нервы успокоить.

Но в глубине души я знала, что он меня любит. Иногда мы ездили на его машине до бухты «Морские короны». Людно там бывало только в разгар лета. Надевали купальники на бретельках – так тогда носили – и он учил меня плавать. Сам не умел. Орал во все горло:

– Что будет, если попадем в кораблекрушение? Плыви, черт тебя поberi! Нет, ну только посмотрите на эту кретинку! Плыви, говорю тебе! Кончай хлебать воду!

В конце концов, выбившись из сил, говорил на три тона ниже:

– Черт с тобой!

И запихивал меня с головой под воду, чтобы я быстрее утопла.

Когда он привозил меня назад в «Червонную даму», у меня просто сердце разрывалось. Он даже не выходил из машины поцеловать меня. Оставался за рулем своего открытого «бугатти» холодный, как прошлогодняя зима, злой оттого, что не разрешено войти в дом. Всегда высаживал меня возле двери в сад. Я и сейчас ее вижу. Из массивного полированного дерева, ужасно старая. Рядом на стене висела медная табличка, не больше моей ладони, на ней нарисована игральная карта. Никто никогда бы не подумал, что здесь бордель.

Я плакала. Обходила машину, чтобы подольше поболтать с ним. Говорила ему медовым голосом, сладким, как я сама:

– Ты ведь правда приедешь в воскресенье?

Он отцеплял мои пальцы от лацканов пиджака, отвечал, стряхивая с него пылинки:

– Там видно будет...

Я-то знала, что места себе не найду все эти бесконечные дни, и ревела как белуга. Говорила ему:

– Ты обо мне будешь думать?

Он отвечал:

– Ну конечно, конечно... – И нажимал на клаксон, чтобы прекратить мои стенания. Он никогда не был несдержанным, разве что когда учил меня жить или в первое время в комнате над забегаловкой на Монпарнасе, которую велел мне снять.

Единственным мужчиной в заведении был двадцатилетний парень, душа нараспашку, один на все про все: садовник, повар, бармен, настройщик рояля, чистильщик обуви, он гасил повсюду свет, хранил тайны всех девушек и был любимцем Мадам. Ни ростом, ни силой он особо не отличался, но научился драться, как японцы. Рассказывали, что однажды, еще до моего приезда, он один уложил пятерых буянивших гостей, причем никто даже охнуть не успел. Его прозвали Джитсу – он всегда разгуливал босиком в кимоно, перехваченном широким черным поясом, и белых брюках из тонкого полотна, с повязкой на лбу.

Он открывал мне дверь, когда Красавчик начинал гудеть. Сквозь слезы я следила взглядом за машиной до самых ворот, каждый раз чувствуя себя все более несчастной. Тогда Джитсу по-дружески обнимал меня за плечи и заставлял уйти. В его голосе звучало все сострадание мира:

– Послушайте, мадемуазель Белинда, не надо так переживать.

Но в остальное время я успокаивалась, мой природный оптимизм брал верх. Я говорила себе: Красавчик – просто ангел, что тратит воскресенье, пробуя научить меня плавать, что со всеми своими недостатками он в тысячу раз лучше, чем все эти сутенеры, вместе взятые, которые мне попадались, включая этого соковыжимальщика моей подруги из Перро-Гирека, так всегда себя утешаешь, когда такой дуре, как я, морочат голову – подумаешь, одной оплеухой больше, одним поцелуем меньше...

Как, ну как я могла представить себе, что этот свет моих очей кончит военным трибуналом и получит пожизненное заключение?

Сперва морские пехотинцы схватили его в Рошфоре, но на флот не послали. Как следует обработав его за три месяца, его отправили в пехоту в Метц. Он мне писал:

Дорогая моя Жоржетта!

Это мое настоящее имя.

Я больше не валяю дурака. Сижусь взаперти. Жратва не впечатляет. Пришли мне посылку и бабки. Если сможешь, сделай фото нагишом. Есть желающий. Я дрочу, когда думаю о тебе.

Твой бедный Эмиль

Это его настоящее имя.

Любимая моя!

Я тут выслуживаюсь, как могу, чтобы попасть в лазарет. Один кореш из Бастош сказал мне, что больных посылают служить ближе к дому. Не забудь про мои деньжата. Фотки твои пришлись по вкусу. Сделай еще. Пусть фотограф не лепится и как следует снимет твою задницу. Теперь тут все дрочат и думают о тебе.

Твой бедный солдатик.

Его отправили в госпиталь в Рен – он попросил своего дружка с площади Бастилии сломать ему прикладом два пальца на ноге. Теперь он не мог ходить в строю. Я гордилась его храбростью, когда думала о том, на что он решился, чтобы быть поближе ко мне, а иногда плакала по ночам в подушку. Он писал:

Моя дылдошка,

Я чуть не отдал концы. Такое говно едим! Не забудь про мои бабки. Боюсь, что Гитлер начнет войну, а тогда даже калек пошлют в эту мясорубку. Последние фотки – полная мура! Слушайся меня – нужно выглядеть побесстыжее. Подрочи сама, тут все уже изошли на мыло.

Твой любимый дорогуша.

Я пропускаю другие, похуже. Красавчик писал мне каждую неделю. По четвергам или в пятницу утром Джитсу, широко улыбаясь, приносил мне конверт со штампом полевой почты. Невзирая на лаконичный стиль – можно подумать, что это он брал уроки у моего учителя, – и орфографические ошибки, которые я исправила, мне кажется, это замечательные письма, я чувствовала, какая в них скрыта грусть. Конечно, все девушки хотели их прочитать, но я не давала никому, кроме черной Зозо из-за этой истории с фотографиями, которые меня чуть в гроб не вогнали.

Мой фотограф, старикан в очках, который обслуживал свадьбы и местные школы, еще хуже моего разбирался в таких делах. Несмотря на деньги, которые я ему платила в тайне от Красавчика, иначе тот совсем бы сошел с катушек от мысли, что мы останемся без гроша, он считал, что занимается ерундой, и снимал, не вкладывая душу. Зозо – грациозная красотка из колоний, позировала для таких фотографий, когда только приехала в Марсель. Она советовала

мне все, что знала сама, и даже получилась целая фотосерия, которая казалась мне достаточно похабной, но пришлось все порвать за ненадобностью: встав на ноги, вернее, на свои восемь пальцев, Красавчик умудрился изнасиловать какую-то мордоворотку, во всяком случае его в этом обвиняли – и теперь уж он влип по самую маковку.

Понятное дело, что я почти свихнулась. Меня отнесли к себе в комнату и две недели делали уколы, чтобы я спала.

Когда доктору, мсье Лози, удалось привести меня в чувство и я пошла на поправку, сидя у себя на балконе с видом на океан, Мадам сообщила мне, что Красавчик получил пожизненное заключение.

Сначала его посадили в какую-то крепость в Лотарингии.

Он мне писал:

Бедняжка моя, Жозетта,

Я xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxx Господи xxxxxxxxxxxx. судьбу. Забудь, что xxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxx и хлоп xxxxxxxxxxxx мою жизнь.

Твой xxxxxxxxxxxxxxxx.

А потом цензура стала вымарывать вообще все. Я получала пустые письма с черными строчками-полосками.

Я понемногу начала работать, но без куража; улыбалась, хотя на меня было жалко смотреть. Мне хорошо платили, хотя я столько не заработала, уверена, что просто девушки скидывались, отрывая от себя. Я плакала еще сильнее, чувствовала себя размягченной, как воск.

Я никогда не умела молиться, даже в приюте, требовались распятие и хоругвь, чтобы разбудить меня после мессы. Но все-все, даже Мадам, говорили, что это может помочь Красавчику, и как-то воскресным вечером я пошла помолиться Мадонне в церкви Сен-Жюльена. Я поставила ей свечку. Я сказала ей, что мой любимый вовсе не плохой человек, что он определил меня в такое заведение, о котором я девочкой даже мечтать не могла, что он учил меня плавать в «Морских коронах» и что это было не так-то легко, ведь сам он плавать не умел – ну и все такое. Я так сильно плакала, что в конце концов и на ее щеках выступали слезы. Я просила у нее прощения, что стала проституткой, но это моя профессия, и я уверена, что она понимает.

На следующее утро, хотите верьте, хотите нет, Красавчика перевели в Крысоловку, крепость на острове как раз напротив Сен-Жюльена. Ее видно, если взобраться на маяк. Каждое воскресенье я карабкалась на двести двадцать ступенек по винтовой лестнице, прихватив с собой театральный бинокль, одолженный у одной из товарок. Мало что было видно, только каменные стены да черные дыры, но все-таки лучше, чем ничего. По пятницам вечером я ходила в порт вместе с Джитсу посмотреть, как на пароходике переправляют в крепость продовольствие и ивовые прутья. Теперь моего херувима заставили плести корзины. Я часто пыталась уговорить солдат из охраны отвезти ему посылку, но никто не соглашался.

Я смогла увидеть Красавчика один-единственный раз, но не знала тогда, что это последний. Как всегда, благодаря Мадам. Она поговорила с одним молодым офицером в штатском, который был знаком с племянником генерала, а этот генерал, который был накоротке с капитаном, комендантом крепости, сох по одной красотке, жене одного буржуа, торговца кожей из Сюржер, она просаживала все мужнины денежки в казино Руайана. Я дала ей пять тысяч франков, чтобы она заплатила долги. Несколько дней спустя в кухне, где мы коротали послеобеденное время в неглиже, Мадам, тяжело вздыхая, вручила мне пропуск, выписанный в обход всех правил. Она никогда не одобряла моих безумств ради Красавчика.

Я не видела его два года. Мне исполнилось девятнадцать. Мы плыли сорок пять минут, и я стояла на носу корабля, не боясь, что меня окатит волна. Была одета во все черное, как вдова.

Мне показали его в длинном коридоре, перегороженном решеткой. Мы сидели на стульях по разные ее стороны. Я ожидала, что увижу скелет, но он не изменился, даже стал как-то румянее и округлился. Впрочем, он сказал, что их хорошо кормят и что он ко всем подлизывается, чтобы получить добавку, значит, я могу закрыть тему. Его побрили наголо, от этого он казался солиднее и мужественнее, но он с раздражением сказал, чтобы эту тему я тоже закрыла, чтобы компенсировать потерю, он завивает волосы там, где они остались.

Нам отвели двадцать минут и разрешили два раза поцеловаться. Он меня еще не успел поцеловать. Едва смотрел на меня, был занят тем, что наблюдал за наблюдавшим за нами охранником, стоявшим в десяти шагах от нас. Он наклонялся вперед, лихорадочно торопясь использовать уходящие минуты, говорил заговорщицким шепотом. Я тоже наклонилась к нему, касаясь лбом прутьев решетки, но слышала только половину его слов.

Он прекрасно понимал, что я не в восторге оттого, что он сотворил. Он прошептал:

– Черт возьми! Я же сказал тебе, что я тут ни при чем! Ты же знаешь, я могу поиметь любую бабу, если захочу. Зачем мне было насильничать?

Я ответила ему:

– Ну меня-то в первый раз ты насильничал.

Он сказал:

– Ну с тобой – это другое дело. Я по любви.

Конечно, я сразу размякла и не стала его прерывать. Короче, он завел старую песню: «Работай! Слышишь? Работай! Нужно много бабок, чтобы вытащить меня отсюда». Я не понимала, что у него на уме, но не посмела спросить, боялась, что услышит охранник. Впрочем, он сам мне сказал:

– Давай, гребни монеты, остальное – моя забота, я дам знать, когда нужно будет.

Мне советовали не дотрагиваться до него сквозь решетку, иначе свидание закончат, но раз уж оно все равно заканчивалось, я положила ладонь на его руку и мигнула, давая понять, что на меня можно положиться.

Он так и ушел по коридору, как и появился, даже не поцеловав меня. Я поняла, что он думает только о себе и что даже если он выберется из этой каталажки, как раньше уже не будет, да и я стану другой. Я сорвала вуаль, подставила лицо ветру. Мне даже грустно не было. Какая-то пустота, и все.

Но не нужно думать, что раз я его разлюбила, то решила оставить в беде. Я не какая-то там вертихвостка. В тот же вечер при свете хрустальных люстр «Червонной дамы», в длинном платье цвета слоновой кости со спиной, оголенной до самых ягодиц, с прической а-ля Гарбо, увешанная всеми имеющимися драгоценностями, с кроваво-красной помадой на губах, я снова стала Белиндой лучших времен, и Мадам угостила всех шампанским.

С этого дня и все последующие четыре года я без передышки выкладывалась каждую ночь и копила деньги, чтобы освободить Красавчика. Я все реже и реже вспоминала его, правда, у меня даже случались короткие увлечения, и я орала от наслаждения в объятиях других мужчин. Но пусть меня покарает Святая Дева, если я вру, я ни на минуту не отказалась от данного ему обещания.

Я была одета, как королева, окружена роскошью и поклонением, защищена от всех на свете проблем, я была так счастлива в то время, и каждый день был так похож на предыдущий, что все они перемешались в моей памяти. Бело-голубой парусник в море, который я видела со своего балкона. Маскарад. Чарльстон: *Жди маму, ничего не трогай*. Дикий смех на кухне во время наших завтраков в полдень. Поездка к Демоне, умиравшей в Баньоле. Я опоздала. Париж, вечер, огни Всемирной выставки. Еще одна поездка, неделя в Кассисе возле Марселя, в компании одного судовладельца. Мадам велела мне сопровождать его. Розыгрыши в «Червонной даме» с участием близнецов Ванессы и Савенны, когда их еще не научились различать. Оплаченные отпуска. Война в Испании. Маяк, на который я больше не залезала.

А потом однажды утром Джитсу нашел в почтовом ящике у ворот письмо без марки, адресованное мне. В нем говорилось:

Мадемуазель,

Мне нужно сообщить вам важные новости от сами знаете кого. Нужны тридцать тысяч франков. Сможете дать больше – еще лучше. Буду ждать вас сегодня вечером в семь часов у шлюза Мено. Буду удить рыбу, на шее – красный платок. С приветом.

Мадам, хранившая мои сбережения в своем банке, днем пошла за деньгами. Я могла бы дать больше, но она сказала мне:

– Если ты дашь хоть один лишний сантим этому прохвосту, я сниму все, и можешь убраться.

Было начало августа. Когда Джитсу отвез меня к шлюзу в черном «шенарде», принадлежащем «Червонной даме», было еще светло. Человек с красным шейным платком сидел в одиночестве на берегу канала, свесив ноги, с длинной удочкой, делая вид, что ловит рыбу. Он даже не поднялся. Велел положить деньги, которые я завернула в газету, в корзину с рыбой. Я выжидала. В глазах у него чувствовалась тревога, а зажатый в зубах окурок дрожал, словно он боялся опасности. Он сказал мне:

– Я три года просидел вместе с Красавчиком, и нет желания попасть туда снова.

Потом добавил:

– Через несколько дней он сматывается. Не знает, когда вы увидите. Может, нескоро. Велел передать, чтобы вы не суетились.

Я спросила у него, как я могу удостовериться, что его прислал Красавчик и что он не прикарманит мои денежки?

Он ответил:

– Если бы вы положили их в корзину, как я сказал, вы бы уже давно все узнали.

В корзине не было даже рыбьего хвоста, только пачка от сигарет, сложенная вчетверо. Красавчик написал:

Жо, если нам не придется увидеться, знай, что твой Эмиль стал счастливым в далеких краях благодаря тебе. Не вздумай проболтаться, если попадусь, тебе перережут глотку. Не сомневайся.

Я подумала, что на самом деле так лучше. Если бы он написал что-то не такое мерзкое, я себя знаю, я бы из кожи вон вылезла, чтобы продолжать помогать ему. А так мы квиты. Я разорвала его записку, едва прикасаясь к ней, и выбросила в канал.

Все, о чем я тут рассказала, всю историю моей жизни до тех пор, пока судьба меня снова не нахлопнула, закончилось в пятницу. В пятницу на следующей неделе к вечеру сирены крепости выли так сильно, что было слышно у нас. Прямо с моего балкона.

Я попросила одну из товарок узнать, что случилось. Это была голубоглазая блондинка, с материнской стороны у нее в жилах текла царская кровь, а от отца достался выговор жителей Монмартра. В общем и целом. Иногда славянская кровь брала верх над кровью викингов, а в другой раз сквозь парижский налет проступала Овернь. Звали ее Мишу, но для клиентов она была Ниночка. Скоро она вернулась с главной новостью: в городе все подсмеивались над солдатами, которые носились как угорелые, – из Крысоловки сбежал заключенный. Кто, каким образом, этого никто не знает. Она сказала, выходя из комнаты:

– Поверь мне, ты его больше не увидишь.

Я ответила:

– Значит, я избавилась от этой заразы.

Назавтра – ничего. На следующий день, в воскресенье, все то же, с одной только разницей, что весь день, непонятно почему, я была в полной депрессии. Он ведь, даже когда опускал ноги в таз с водой, то всегда орал как резаный, то горячо, то слишком холодно, я воображала, как он бродит по болотам полуострова, несчастный, как бездомный пес. А потом вдруг вспомнила нашу первую встречу, всякие там глупости. Это дорогого стоит, спросить мордоворота, у которого еще к тому же один глаз смотрит на вас, а другой – на Прованс, как его зовут, и услышать в ответ: «Красавчик, меня зовут Красавчик». Но я и бровью не повела. Да и невозможно было. От его улыбки становилось не по себе. Каждый раз, когда говорят «усмешка» или «ухмылка», я вспоминаю его, и меня до сих пор еще трясет.

Как бы то ни было, в понедельник днем я вышла забрать флакон духов, которые заказала, в то время я предпочитала «Кэлке флер» фирмы Убиган. Парикмахерша, сплетница, о которой мне еще придется вспомнить, своим писклявым голоском сообщала клиенткам последние новости, при этом она так виляла бедрами, что даже самой тупой из моих подружек с улицы Делабр стало бы стыдно за нее. За глаза, когда над ней не смеялись, ее называли Балаболка, а в лицо – мадам то ли Бонефуа, то ли Бонифе, уже не помню. Короче, зашла и вышла, собираясь благоухать до конца лета, а внутри я узнала, что на полуострове сняли заграждения, так что теперь мой кавалер, должно быть, охмуряет испанок. Трудно передать, как мне полегчало. Летела назад, как пушинка. Как только ветер не унес!

В тот же вечер, вернее, почти в полночь я получила удар под дых, который сразу вернул меня с облаков на землю. Только что обслужила клиента и освежалась в ванне. В эту минуту без стука ворвался Джитсу с перекошенным лицом, его послала Мадам, он сообщил мне, что Красавчик внизу на кухне, сильно ранен. Я только набросила пеньюар из черного шелка и, даже не запахнувшись, помчалась вниз по лестнице. Там в гостиной при свете люстр вальсировали пары в вечерних туалетах. Я пересекла вестибюль, Джитсу за мной, и спустилась на кухню.

Это была шикарная старинная кухня с медной посудой, начищенной, как корабельные трубы, пол, выложенный плиткой. В центре стоял массивный стол из орехового дерева, его натирали воском через день, и подобранные по стилю стулья, на один из них и посадили моего каторжника. Мишу, Зозо и Мадам сгрудились вокруг. Увидев его, я остановилась как вкопанная. Он выглядел именно так, как я и ожидала, грязный, выбившийся из сил, на груди ужасное пятно запекшейся крови, но только одна деталь лишила меня дара речи: *это был не Красавчик*.

К счастью для продолжения или по роковой случайности, первой заговорила Мадам. Она с подозрением спросила:

– Это твой субчик?

Она никогда не видела Красавчика вблизи, только из окна, когда он ждал меня. Поскольку я молчала, она добавила:

– Он в тюрьме сильно изменился.

Я никогда не видела раньше человека, сидевшего на стуле. Сперва меня поразило его умоляющий взгляд, обращенный ко мне. Было нетрудно догадаться, даже для такой необразованной, как я, что он до смерти боялся, что я его заложу. Все это можно было прочесть за три секунды в его черных глазах. Прежде чем прийти в себя, я услышала свой голос:

– Поднимите его в мою комнату.

Зозо и Джитсу подхватили его под руки, чтобы помочь ему идти. Я увидела, что он высокий, широкоплечий, голенастый. На нем были рубашка-поло, брюки и выдавшие виды белые мокасины. Я бы дала ему лет тридцать. Его тащили к двери, возле которой я стояла, но Мадам велела поднять его по черной лестнице. Она уже держала в руках трубку, чтобы вызвать врача.

Незнакомца – ступенька за ступенькой – доволокли до моей комнаты и положили на мою кровать. Он не жаловался, но видно было, что ему больно. Добрую четверть часа я оставалась с ним наедине. Он закрыл глаза. Не произнес ни слова. Я и подавно.

Когда мсье Лозэ, наш доктор, закончил работу, я стояла на балконе, смотрела в темноту, в голове полная каша. Он подошел ко мне, застегивая пальто, надетое поверх пижамы, и сказал:

– Я вытащил из него весь свинец, которым его наспиговали. Крепкий парень! Через пару дней будет уже на ногах.

Я почувствовала, что он хотел мне сказать совсем другое, но он никогда не говорит лишнего. Если я и приютила улизнувшего из крепости, то его это никак не касалось. Он только добавил:

– Не волнуйся, это всего лишь мелкая дробь.

Как только он ушел, я прислонилась к двери, глядя на кровать. Глаза у раненого были открыты, он лежал на двух подушках, голая грудь перебинтована широкой повязкой, выглядел он уже намного лучше. Я грозно спросила его:

– Вы кто?

Он ответил:

– Сообщник Красавчика.

Я подошла, задевая прозрачный полог, спросила, уже смягчившись:

– Вы его видели?

Он прикрыл свои черные глаза длинными ресницами:

– Он сбежал три дня назад.

Я присела на край кровати, ожидая услышать продолжение. Я вижу его, как сейчас. Чистое лицо долго молча смотрит на меня. Мне он вдруг показался красивым и недоступным. Клянусь. В конце концов я отвела глаза.

«В прошлую пятницу, когда повсюду были крепостные сирены, – говорил упрямый молодой человек, – я разрезал пополам камеру футбольного мяча и натянул ее на голову, чтобы стать похожим на каторжника. Потом надел кожаную куртку, шлем, очки, сел на большой английский мотоцикл, который купил две недели назад, а мечтал о нем всю жизнь, и стал ездить по полуострову, чтобы найти вашего любовника до того, как его поймают солдаты.

Вы, наверное, спросите, откуда я узнал о его побеге? На это я отвечу, что мне случается в туманные вечера сидеть за кружкой крепкого пива и горевать о потерянном детстве, о котором так интересно рассказывала моя бабушка, или слушать, как другие вспоминают свое. И хотя не скажешь, что я особо сосредоточен, но если мне изливает душу предатель, изменник или подлец, я сразу это чувствую.

Как-то вечером, когда мне было особенно тоскливо, я сидел в заднем зале портового бистро «Нептун», которое открыто днем и ночью, и услышал, как шушукались двое пьяных. Меня отделяла от них тонкая перегородка зернистого стекла, но они на меня не обращали внимания, а я не мог разглядеть их лиц. Все, что я могу сказать, что голос того, кто изливал душу, был встревоженный и сквозь стекло видно было красное яркое пятно вокруг шеи, наверное, платок. Он говорил о побеге, об украденной лодке, о продажных охранниках. Говорил о каком-то заключенном, у которого на редкость гадкая улыбка. Говорил о вас. Он сказал:

– Высокая девица с глазами цвета моря, с нежной как шелк кожей, такие входят в нашу жизнь как сон, и за наши деньги, и из любви к ним.

Вообще-то он ругал себя за то, что взялся помочь некоему Красавчику, и явно добивался, чтобы собутельник поддержал его, поскольку отнюдь не собирался держать свое обещание. Вот и вся история.

Когда в пятницу зазвучали сирены, я сделал то, что должен был сделать тот человек, которого я никогда не видел, но понимал, что он этого делать не будет.

Я помчался на своем метеоре на опушку лесу, о которой он говорил. Лес этот в самом центре полуострова, вокруг – виноградники и луга. Было тепло, солнце садилось за деревья. Я прождал почти целый час, опершись о мотоцикл, боялся, что ошибся, что они договорились

встретиться в другом месте. Но потом в предзакатных сумерках раздались какие-то звуки, но такие слабые, что сперва было даже неясно, откуда они идут, но очень скоро они стали громче. Это лаяли собаки.

И почти тут же затрещали сухие ветки, и, раздвигая кустарник, передо мной появился бритый наголо беглец. С него градом катил пот, он задышался, буквально согнувшись пополам. Увидев меня, он упал на колени. Насколько я мог судить, этот отброс общества опережал собачью свору, спущенную ему вдогонку всего на несколько минут. Я бросил ему свою кожаную куртку, очки, каску. Сказал:

– Поторапливайся. Надевай мое, а мне дай свои тряпки.

Мы молча разделись, даже ботинками поменялись. Лай приближался. Пока он превращался в меня, а я в него, я ему сказал:

– Бери мой мотоцикл, а я их отвлеку.

Выпрямившись во весь рост и отдышавшись, Красавчик смотрел на меня с несказанной благодарностью. Он воскликнул:

– В жизни не забуду, что ты для меня сделал!

Я раздраженно ответил:

– Да это не для тебя, мразь! Это для Белинды, ты говорил, что это твоя женщина, а сам сдал ее в бордель!

Он остолбенел, раскрыв рот, потом его снова охватил ужас, и он кинулся к мотоциклу. Прежде чем газовать, он повернулся ко мне – глаза у него налились кровью – и бросил:

– Тогда, приятель, баба твоя. Ты ее заработал.

И помчался на всех парах через поля, только бы выехать на какую-нибудь дорогу – то ли проселочную, то ли на шоссе – лишь бы убраться подальше от этих мест. А я, в робе, провонявшей потом, в каких-то куцых брючонках, обутый в тюремные опорки, подождал, пока он скроется из виду, пожелал себе не дрейфить и бросился наутек по лесу, в противоположную сторону, а за спиной у меня лаяли собаки».

Скажу честно, я была немного не в себе, когда бедолага закончил свой рассказ, к тому же он уставился на меня влюбленными глазами. Я, конечно, тут же растаяла и сказала ему:

– Ты что, знал меня раньше?

Я-то сама была почти уверена, что увидела его этой ночью впервые. Он ответил со смущенным видом:

– Я часто незаметно шел за вами следом, когда вы гуляли по городу, но так и не решился заговорить.

Я еще больше растрогалась. Взяла его за руку. Она была горячая и мягкая. Я спросила:

– Кто в тебя стрелял?

Он тихо вздохнул и ответил:

– Одна новобрачная во время своего свадебного путешествия. Я целый день и всю ночь прятался на болоте, а потом заставил ее увезти меня в их фургоне, а потом вдруг...

Внезапно мы оба вздрогнули от неожиданности, услышав шум и крики, доносившиеся снизу. Он сел в кровати, с тревогой глядя на дверь. Я знаком велела ему не шевелиться, а сама пошла на лестницу посмотреть, что происходит. Ужас! Солдаты в серо-голубой форме и надвинутых на глаза касках заполнили гостиную. Держа винтовки обеими руками, они сгоняли клиентов и девушек на середину комнаты, под свет люстр, командовал всем, гнусно взирая на происходящее, скрестив руки, ужасный хам, лейтенант Мадиньо. Такой переполох поднялся – как в курятнике!

На памяти всех работавших здесь девушек, и живых, и мертвых, никогда еще «Червонная дама» не знала такого позора. На Мадам лица не было. Я увидела, как она хватается офицера за рукав с криком:

– Лейтенант, в конце-то концов, вы же знаете, какая у нас репутация.

Тот невозмутимо высвобождает руку и отвечает тоном выше:

– Вот именно!

Мадам рухнула на кушетку, не отпуская от себя верного Джитсу, которого и дюжиной вояк не испугаешь, а тот утешает ее, как умеет:

– Послушайте, Мадам, ну не надо так переживать!

Когда я услышала, как Мадиньо отдает команду: «Обыщите мне всю эту богадельню!», я не стала терять времени даром. В три прыжка была уже в комнате, подняла раненого с кровати, подхватила его рубашку, мокасины, а он тем временем натягивал брюки, и быстро, словно имела дело со здоровым, поволокла этого верзилу, которому так подфартило только потому, что он столкнулся со мной на улице, в единственное укромное место во всем доме, куда его можно было спрятать. К счастью, это было неподалеку, только пройти по коридору.

В конце коридора, почти напротив моей комнаты, к стене была прислонена красивая картина – копия еще более старой, даже подпись художника скопирована: «Истина, вылезающая из колодца»¹, для невежд название было полностью выгравировано на золотой табличке. Я отодвинула шедевр и ключиком открыла дверь находившейся за ней комнатухи. Внутри совершенно пусто, ровно четыре шага в длину. Ее прозвали «Карцер», потому что там заперали строптивых девушек, по крайней мере, раньше, когда такие еще встречались.

Панику и ужас моего подопечного, когда он увидел эту каморку, нельзя передать словами ни на одном языке. А раз вы такого не знаете, значит, в жизни ничего не видали. Я схватила его за руку и затолкала в закуток. Уже слышно было, как по лестнице стучат сапоги. Прежде чем запереть дверь и заслонить ее этой голой бабой в бочке, я его пожалела, поскольку вид у него был такой, словно его хоронят заживо, и шепнула:

– Да ты не бойся, это на несколько минут, не больше.

Но он просидел там всю ночь. В восемь утра без одной минуты мы все еще околачивались в гостиной, Мадам и Джитсу тоже, кто лежал, кто сидел с открытыми глазами – нам не привыкать. Клиентов отпустили, люстры погасили. Солдаты, которые нас охраняли, выстроившись в один ряд, заснули стоя, опираясь на свои винтовки. Мерзкий Мадиньо расхаживал по комнате, погруженный в свои мысли, скрипя сапогами. Ровно в восемь он двумя руками раздвинул шторы на одном из окон. Был чудесный летний день. Он слегка вздохнул и сдался:

– Ладно. Пошли. Всем строиться в саду.

Нас тогда в заведении работало десять, ну точь-в-точь десять заповедей, и девять были в койках, когда солдаты ворвались в дом. Мы с Джитсу остались с Мадам. Прежде чем выйти к своим, лейтенант задержался возле нее и показал ей свою ладонь, измазанную чем-то коричневым.

Он бросил ей с гаденькой ухмылкой:

– Это кровь, но не моя! Подонок, который оставил эти следы, надеюсь, уже сдох.

Потом злобно посмотрел на Джитсу:

– Погоди, вот окажешься в моем полку, мало не покажется.

Как бы то ни было, он ушел со своим стадом, а я смогла вызволить пленника. Он еще не дошел до того состояния, которое сулил ему Мадиньо, но ждать оставалось недолго. Лицо у него было просто пепельного цвета, ни кровинки. Когда я уложила его, одетого, в свою постель под тремя одеялами, он так дрожал от холода, что даже зубы стучали. Я попросила Джитсу

¹ Картины на этот аллегорический сюжет написаны Жан-Луи Жеромом (1824–1904) и Эдуаром Деба-Понсаном (1847–1913).

принести кофе. Пришлось мне самой держать чашку, пока он пил. Он уставился куда-то в пустоту безумными глазами.

Прошло какое-то время и он пришел в себя, даже выдавил улыбку, как будто извинялся. Я все еще была в пеньюаре из черного шелка. Он положил голову мне на колени и громко вздохнул. Прошептал:

– Я должен все объяснить...

А сам того не замечая, откусывал от куска хлеба, намазанного маслом.

«Когда мне было шесть или семь лет, точно не помню, – с горечью рассказывал этот парень, – мой негодяй-папаша бросил мать без средств к существованию. Мы жили тогда там, где я родился: в Марселе на бульваре Насьональ. Чтобы пойти работать, ей пришлось отдать меня в пансион.

Это было недалеко, в пригороде, который назывался Ле-Труа-Люк, но мне казалось, что это на краю света. Наверное, все из-за того, что я ужасно скучал по матери. Я видел ее несколько часов по воскресеньям, и с самого начала наша встреча была омрачена ожиданием конца. В полдень она приезжала на трамвае забрать меня домой и отвозила назад на закате. Когда она прощалась со мной возле ворот пансиона, я так горько плакал, будто видел ее в последний раз. Мне кажется, я никогда в жизни больше не испытывал такого сильного, непреодолимого отчаяния, оно не покидало меня ни днем ни ночью. Даже сегодня мне достаточно вспомнить те дни, и я все переживаю заново. Помню деревянную арку над воротами, которая скрипит под порывами мистралья. Краска на ней облупилась, от надписи серыми буквами на полустертом фоне осталось только: ПАНСИОН СВ ПН. Посыпанная гравием аллея ведет к зданиям и двору, обсаженному платанами. У меня светлые волосы. Ростом я – не выше дверной ручки. В правой руке держу чемоданчик со сменой чистого белья с бирками, на них цифра 18. Тут неподалеку есть огород, и я зажимаю нос, чтобы не чувствовать запаха помидоров. С того времени я возненавидел помидоры, сам не знаю почему. Могу есть что угодно, кроме них. Стоит проглотить кусочек – и меня тут же начинает рвать.

В классной комнате два окна, между ними дровяная печь, черные парты с фарфоровыми чернильницами, помост – на нем стол и плетеный стул, который потрескивает при каждом движении учительницы. Я сижу за первой партой среди самых маленьких, почти напротив нее. Это жена директора, но намного его младше, годится ему в дочери. Одета всегда очень строго, лицо у нее красивое и тоже строгое и голубые глубокие глаза. Длинные темные волосы подобраны в шиньон, заколотый шпильками, иногда из него выбивается прядь и падает ей на щеку. Она поднимает руку, чтобы поправить прическу, и тогда в вырезе блузки проглядывает ее округлая пышная грудь. Некоторые называют ее “Сиська”, но другим больше нравится “Ляжка”, потому что низ ее такой же возбуждающий, как и верх.

Пока мы делаем упражнения, она читает, подперев голову рукой. Столешница перерезает ее надвое, и кажется, что ее ноги совсем от другой женщины. Они постоянно в движении. То закидывает ногу на ногу, то ставит их рядом, то опять закидывает. В классе слышно только, как поскрипывают перья фирмы “Сержан-Мажор” и трещат стулья. На учительнице плотно натянутые чулки, но нам хотелось увидеть их до самых подвязок. Вполне вероятно, что в те годы мною двигало только любопытство, но я, не отрываясь, смотрю на ноги учительницы, поедая при этом бутерброд, оставшийся от школьного завтрака. Мне хотелось проникнуть взглядом выше и выше, и часто благодаря узкой юбке мне удавалось разглядеть полоску голого тела или белое пятно трусиков. Бывало, это зрелище по-настоящему меня гипнотизировало, достаточно было бы моему соседу пихнуть меня пальцем, я уронил бы голову на парту и тут же погрузился в глубокий сон.

Но не всегда все кончается хорошо. Каждый раз, когда Ляжка отрывает глаза от книги, ее гневный взгляд, мрачный, как морские глубины, мгновенно перехватывает направление моего. Она выпрямляется на стуле, резко одергивает юбку и произносит осуждающе:

– Тебе не стыдно? После урока подожди меня в коридоре.

Коридор идет прямо от вестибюля. Пол выложен черно-белыми плитками, как шахматная доска. Рядом с высокой дверью напротив кабинета директора находится еще одна – узенькая, о которой упоминают лишь шепотом: карцер. Около пяти часов, когда другие дети играют в мяч во дворе, учительница заталкивает меня туда и шепчет мне на ухо:

– Значит, тебе нравится заглядывать мне под юбку? Нравится?

И добавляет, прежде чем запереть дверь, превратившись в зловещую тень на светлом фоне:

– Посмотрим, как тебе это понравится утром!

Карцер, грустно рассказывал молодой человек, доедая бутерброд, похож на ваш – шаг в длину, шаг в ширину, без окна, без лампочки, одна темень. Я уже был слишком гордым – никогда не плакал и ни о чем не просил, не мог доставить такого удовольствия Ляжке. Мне кажется, поскольку помню я только свое состояние ужаса, как я сидел в углу, весь сжавшись, заставляя себя думать о маме, бабушке, о моем негодяе-отце, который бросил нас, но если бы он знал, в какую переделку я попал, то обязательно вернулся и вызволил бы меня. Или же я, наверное, убеждал себя, что в темноте я все время расту, так же как другие седеют за одну ночь, и что, к всеобщему изумлению, я сумею пробить стену и выйти на свободу. Но негодяи-отцы никогда не возвращаются. И каждому известно, что должны пройти дни и ночи, чтобы перерасти дверную ручку, нужно ждать очень долго».

Вот так он и заработал эту мерзкую клаустрофобию. Я вся изошла на жалость, а он меня еще подзавел:

– Знаете, она каждый день наказывала другого ученика. Уверен, что это делала нарочно, ну, в общем, показывала свои ноги.

Я ответила с возмущением:

– Школьная учительница!.. Бедный мой малыш!

И осознала, что прижимаю его к себе, глажу его по голове, как ребенка. Может, я повторяюсь, но тем хуже – мне было двадцать три, а ему где-то около тридцати. Как ни верти, странно, что я его баюкала. Хотя мне это нравилось, я могла бы продолжать весь день.

Через какое-то время я поняла, что он засыпает, поддержала и опустила на подушки, погасила лампу у изголовья. Голубоватый свет пробивался сквозь занавески, он протянул мне руку, прошептал:

– Как вы добры ко мне, Белинда!

Мои глаза привыкли к полутьме, я видела по его взгляду, что его переполняют эмоции. Не взвешивая ни за, ни против, я просто сказала ему:

– Раз Красавчик отдал меня, значит, я твоя.

На этом все и закончилось. Почти тут же, не выпуская моей руки, он забылся тяжелым сном, усталость взяла свое. Я долго смотрела на него, спящего. Что касается красоты, я от обмена только выиграла, дело тут было беспроегрышное. Что же касается остального, я ничегошеньки о нем не знала, за исключением того, что родился он в Марселе, не любил помидоров, носил на левой руке широкое и плоское обручальное кольцо, что, впрочем, не мешало ему по ночам шляться в одиночку по кафе, подслушивать признания каких-то типов, выдающих себя за любителей рыбной ловли. Он не крутился в постели, как Красавчик, стараясь лечь поудобнее, но, наверное, ему снились кошмары, это можно было понять по его дыханию, по гримасам. Я отогнула одеяло, чтобы чмокнуть его в грудь, прямо над повязкой. У него была нежная кожа и пахло от него приятно. Я опустила руку – к талии. Если честно, мне хотелось спуститься еще ниже и пощупать, не разбудив, а может, не только пощупать, только чтобы он не знал, и посмотреть на его лицо – видит ли он хорошие сны. Я была готова, колебалась, но все-таки заставила себя подняться с кровати. Аккуратно подоткнула одеяло, поправила подушку и пошла спать на диван.

И все-таки с этого дня, как я уже сказала, я стала его женщиной.

В два часа дня он еще спал, а я спустилась на кухню – поболтать с девушками. Мадам до сих пор была сама не своя после ночного происшествия, главное, «что в моем доме были солдаты», но когда я сказала ей дрожащим голосом, что Красавчика нельзя выгнать на улицу, что его тут же схватят, она посмотрела прямо мне в лицо и ответила:

– Красавчик не Красавчик, но если беглец ищет у меня убежище, это святое, как в церкви. За кого ты меня принимаешь?

И должна сказать, что все держали язык за зубами, не только мои девять подружек, а о Джитсу даже говорить нечего.

Вечером, перед тем как спуститься в гостиную к первым клиентам, Черная Зозо, Мишу, Магали и близнецы пришли посмотреть, как обедает раненый, лежа в моей кровати. Все разодетые в пух и прах, щебечут, как попугайчики, очень им любопытно увидеть моего сердцеда, из-за которого я так страдала... Я нашла для него черную шелковую пижаму с серебряными пуговицами и петлицами. Я его побрила, причесала, сделала маникюр, ну прямо принц в окружении свиты. Продолжая жадно глотать пищу, так что сердце сжималось от жалости, он отвечал на вопросы, так живо рассказывал про тюрьму, в которой никогда не сидел, что мы как будто сами там побывали. Я просто покраснела от гордости и раздулась, как индюк. Разве что он все время морщился, когда его называли Красавчиком, и я боялась, что другие тоже заметят.

Как только они ушли, причем каждая на прощание состроила какую-то жеманную гримаску, я спросила, как его зовут по-настоящему. Он ответил:

– Антуан.

Потом ему пришлось проглотить мое:

– А мне больше нравится Тони, это звучит шикарнее.

Я сочла, что это прекрасное начало, чтобы задать ему другой вопрос, который мучил меня с самого утра:

– А ты женат?

Он посмотрел на свое кольцо и ответил:

– Нет, это обручальное кольцо моего дедушки. Бабушка отдала мне его, когда дед умер. Не могу соврать, мне это было приятно. Я сказала ему:

– Я велю остальным, чтобы тебя называли Красавчиком, так, ради безопасности.

Я убрала с кровати остатки его обеда, села возле него и обняла, как положено. Мне сразу же захотелось, чтобы он довел меня до конца. Но я уже была одета для приема клиентов, снизу раздавалась музыка, мне не хотелось лишний раз злить Мадам из-за моих душевных терзаний. Я сказала ему:

– Дорогой мой Тони, любимый, будь паинькой, я от тебя умираю, но ты мнешь мне платье, прошу тебя, подожди, пока я вернусь, пожалей меня.

Такое кривлянье не сошло бы даже в романе Делли², этот монолог наверняка выкинули бы. Наконец я от него вырвалась, но не чуяла под собой ног, когда бежала вниз по лестнице, – в самом деле просто не чуяла.

В ту ночь я не работала, мне не успели отвести свободную комнату. Во всяком случае после вчерашнего скандала не я одна сидела сложа руки. Понадобилось несколько недель, чтобы клиенты, с которыми так мило обошлись, осмелились снова прийти к нам. Я протанцевала два или три раза, выслушала биржевые сводки от одного банкира, лечившегося в Сен-Трожане на острове Олерон, выкурила пачку крепких сигарет, глядя, как движется стрелка на часах над баром, короче, ни за какие коврижки я бы не хотела, чтобы праздник закончился. В

² Делли – псевдоним брата и сестры Фредерика (1876–1949) и Мари (1875–1947) Петижан де ля Розьер, авторов более ста сентиментальных романов не очень высоких литературных достоинств.

полночь мы закрылись, даже не окупив расходов, что, по словам Мадам, было неслыханно для любого заведения со времен матча по боксу между Карпантье и Демпси.

Я разделась в ванной, помылась и скользнула в кровать к суженому, не разбудив его. Расстегнула одну за другой пуговицы на его пижаме и пояс на брюках, ко мне вернулось желание, которое раздирало меня накануне. Не знаю, то ли он притворялся, что спит, чтобы уважить мою блажь, то ли он действительно не чувствовал прикосновения ни моих рук, ни губ, то ли думал, что это ему снится, но он не открыл глаз, не шелохнулся, а я дошла до высшей точки. А потом он сжал меня в объятиях, опрокинул на спину, и когда из-за занавесок стал пробиваться свет, я умерла столько раз, что уже обессилела, но продолжала кричать. Можете, конечно, не верить проститутке, но позже мы вместе выпили кофе, сидя по обе стороны невысокого столика, около окна, и при ярком свете я смущалась как целка, которую лишили невинности. Когда он повернул мое лицо, чтобы я смотрела на него, я увидела только его сияющие глаза, его улыбку и тогда поняла, что это не случайная интрижка или страсть, не прилив чувств, но то самое, настоящее, о чем говорят шепотом, например, что такое случилось с теткой золовки одной товарки, а вот теперь пробрало и меня, Жозетту, немало повидавшую на своем веку. Но нельзя открывать шлюзы – чуть приоткроешь, заревешь – настоящий Ниагарский водопад! С места мне не сойти. Поскольку сам он был слишком взволнован, то не отодвинул чашки – пришлось пить соленый кофе.

Потом целых три недели я просто летала. Доктор Лозэ снял с него повязку. Джитсу отвез меня в Рой-ан купить выздоравливающему одежду. Я накупила полный чемодан шмоток от Шенара и завалила пакетами все заднее сиденье. Черный смокинг, белый смокинг, они ему требовались, скоро объясню почему. Дюжину рубашек. Трикотажные рубашки-поло. Свитеры *made in England*, туфли *made in Italy*. Шесть пар. Два спортивных костюма, три костюма на каждый день, один из белой шерсти альпага, чтобы кто-то из товаров, завидовавших мне лютой завистью, не попрекнул, что я отношусь к нему хуже, чем к Красавчику. Пропускаю галстуки, тонкие носки, носовые платки, все шелковое. Пропускаю шляпы, одно канотье, как у Мориса Шевалье. Пропускаю пижамы, домашние халаты, махровые халаты, толстые, как ковер, часы-браслет, портсигар, зажигалку от Картье, запонки, булавку для галстука и кольцо-печатку из золота высшей пробы. Джитсу бегал от магазинов к машине, с руками, полными пакетов. Чем больше я покупала, тем радостнее у меня становилось на душе. Чтобы расплатиться, я принесла целую стопку купюр с изображением Геракла³, но в конце пришлось покупать в кредит, я только и делала, что выдавала расписки.

Как все ржали, когда я принесла эту грудку домой и пыталась поднять наверх, просто животы надорвали. Весь следующий день Тони изображал из себя манекен. Одна из девушек, красotka Люлю, установила свою машину Зингер в нашей комнате и подгоняла купленное под размер. Настоящий франт, дорогая моя, ему все понравилось, кроме печатки, которую я в результате уступила Мадам, а та подарила Джитсу.

Теперь объясню, зачем Тони понадобились смокинги. В первый же день, когда он встал на ноги, он спустился со мной в гостиную, когда там никого еще не было. Осмотрел помещения, восхитился роскошью и стилем барокко, но больше всего его потряс рояль. Он сел за него, будто это было чудо из чудес, размял пальцы и заиграл. Я говорю «заиграл», потому что просто слов не хватает, у меня просто мурашки по коже побежали. Девушки в полном обалдении одна за другой стали выскакивать из своих комнат на лестничную площадку наверх, а другие быстро поднимались наверх из кухни. Неважно, что играл он классику типа Персидского марша и что приходилось напевать ему модную мелодию, что было дальше – и так понятно. До него на рояле брэнчала только Магали, а иногда, когда веселье становилось бурным, по клавишам стучали двойняшки. А так для музыки мы завели радиолу, последний крик моды,

³ Банкноты 1000 франков, на аверсе которых изображены семь из двенадцати подвигов Геракла.

и громкоговорители, скрытые драпировкой, но Мадам, большой знаток по части всякого там украшательства, говорила, что в настоящем заведении должен стоять рояль, а главное, чтобы было, куда поставить гладиолусы.

Вот так Тони стал у нас тапером, что упрощало жизнь, потому что теперь в рабочие часы моя комната была свободна. Все, включая Мадам, были довольны, а ему тоже стало веселее, все лучше, чем ходить кругами или валяться в кровати. Поскольку он был занудой, и сперва ему было не по себе, что я его содержу, он к тому же был доволен, что, изображая музыканта, платит за свой стол и кров. Кстати, деньги в то время на меня просто сыпались. Я прямо-таки расцвела от любви и меньше трех раз вверх не поднималась, сама выбирала, кто меня оседлает, зарабатывала побольше какой-нибудь машинистки. Если к нам залетали любители девушек повыше, я была все рекорды.

Самым трудным оказалось запретить Тони выходить на улицу. Он повторял одно и то же: – Ведь ищут-то не меня, а Красавчика.

Послушать его, так даже столкнись он нос к носу с лейтенантом Мадиньо (он называл его Мудиньо), то тот прошел бы мимо, не обратив внимания на очередного отдыхающего, который оттянулся у нас по полной, а теперь старается избежать встречи и не здороваться. Я ему говорила:

– А невеста, которую ты умыкнул? Наверное, она еще в городе.

Он поднимал глаза к небу, якобы в ужасе от моей глупости:

– Убить меня она могла, но донести – ни за что!

Допустим. Во всяком случае Мадам и товарки твердо верили, что это Красавчик. Представляю, что они сильно засомневались бы в этом, если бы он небрежно бросил им, взяв под козырек:

– Пока, пойду развеяться.

Даже если у пятерых из десяти шарики в голове работали со скрипом, а у двух в голове были просто опилки, то уж Зозо, Мишу и Мадам точно заподозрили бы неладное. Но попробуйте заставить клаустро... как там его, прислушаться к голосу разума.

Сперва ему хватало балкона. Считал облака, лодки, застрявшие на песке после отлива, проветривал легкие. Минут через пять возвращался на кровать, ложился, обхватив голову руками, несчастнее, чем раньше. Ему не хотелось ни курить, ни пить, ни читать статьи с пересказом фильмов, ни разговаривать, а уж кричать и подавно. Настоящий медведь в берлоге!

А потом, как-то вечером, когда красное солнце еще стояло на горизонте, он перешагнул балюстраду балкона и завис над садом. Я умоляла его. Слишком высоко – отпустит руки – костей не соберешь! Он что-то неразборчиво прошептал и разжал пальцы. Упал на клумбу, мягко, как кот. Посмотрел снизу вверх, приложил палец к губам и, прижимаясь к стенам, отправился навстречу свободе.

Я быстро обулась и накинула плащ, даже трусы надеть не успела, и сломя голову бросилась по лестнице. Помчалась наугад сначала в центр города, потом в порт, заходила в «Нептун» и разные другие кафе, посмотреть, нет ли его там. Как сквозь землю провалился! Я развернулась и снова побежала, не разбирая дороги, как сумасшедшая, заклиная Святую Деву спасти его.

Я нашла его, когда уже наступила ночь, а курортники побогаче из бара переходят ужинать в ресторан: он сидел в полном одиночестве и полной задумчивости на бортике фонтана. Я подошла. Минуту смотрела на него, не шевелясь, просто радуясь, что вижу его. Кажется, он пускал по воде пустой спичечный коробок. Наконец заметил меня, фонтан был на другом конце площади, подошел, руки в карманах, подталкивая камешек носком ботинка. Я бросилась к нему, сказала, что боялась, что он ушел навсегда. Он засмеялся, поцеловал в волосы, сильно прижал. Оказывается, когда он спрыгнул с балкона, я не расслышала фразу: «Поищи веревку, чтобы я мог подняться».

Мы прошлись до конца мола, обнимая друг друга за талию, почти никого не встретили по дороге, и поскольку он понял, что я под плащом голая, он шел все быстрее и быстрее, прямо к маяку. Там, прислонившись к стене, он насадил меня на себя, я обхватила его руками и ногами, рядом метался гигантский луч света, прочесывал океан, а сердце у меня просто выпрыгивало из груди.

Мы вернулись в «Червонную даму», не прибегая к уловкам, прямо через дверь. Открывая нам, Джитсу улыбнулся, как обычно. Нужно сказать, что слепым он не был, и в отличие от остальных видел настоящего Красавчика вблизи. Наверное, он в первый же вечер почувствовал, что это надувательство. Мадам в этот момент была на кухне. Я оставила Тони и пошла к ней, даже не переодевшись.

Она была в слезах. Резала лук. Даже глаз не подняла, чтобы взглянуть, кто вошел. Я сказала ей:

– Мадам, я вас обманула. Тони вовсе не Красавчик.

Она ответила, не отрываясь от своего занятия:

– Спасибо за информацию. Это секрет Полишинеля. Думаю, даже Магали догадалась.

Магали была из нас самой тупой. Поскольку Мадам молчала, я спросила ее почти шепотом:

– Вы его выгоните?

Вздых:

– Захотела бы, уже выгнала. Есть вопросы?

Через несколько минут, чувствуя, что я замерла, добавила:

– Иди переодейся, а то опоздаешь.

Я пошла к лестнице, но не смогла себя пересилить и спросила:

– А почему вы не?..

Она ответила усталым голосом, по-прежнему не глядя на меня:

– Разве ты отпустила бы его одного? Есть вопросы?

Ни разу больше мы не поднимали с ней эту тему. Я жила как во сне и грезила наяву двадцать четыре часа в сутки рядом со своим любимым. Вижу его, как сейчас, – он сидит за роялем в ярком свете люстр большой гостиной, белый смокинг, волосы набриолинены а-ля Джордж Рафт, безмятежная улыбка – тридцать два ослепительно-белых зуба, красив как на картинке. Иногда, оглябая кружащиеся в вихре вальса пары, его взгляд встречается с моим, как будто мы одни на свете, только мы вдвоем знаем какую-то общую тайну. Короче говоря, влюбилась я по гроб жизни. Даже когда я лежала в постели с клиентом, думала о нем, прислушивалась, чтобы различить музыку внизу, а если очередной гимнаст трепался в койке, не замолкая, требовала, чтобы он заткнулся.

Лучшее время – на рассвете, когда гости уже разошлись, а Джитсу гасит люстры. Горит единственная лампа на рояле, отбрасывая немного света, она освещает несколько девушек, которые задержались, чтобы послушать музыку. Тони в рубашке, без смокинга, с сине-золотыми нарукавными резинками выше локтя, с сигарой в зубах, на рояле бутылка виски, наигрывает полные ностальгии мелодии американских негров. Моя любимая – *Я написал твое имя на всех деревьях*, он играл ее так, словно для меня ее сочинил. Я стояла у него за спиной, положив руки на плечи, гордая от сознания, что он принадлежит мне, а иногда, когда его вдохновляла какая-то идея, он вдруг пускался в откровения, и его голос тоже звучал, как музыка.

Он говорил:

– Первую, самую первую женщину я полюбил, когда мне было девять лет, когда наконец меня забрали из пансиона в Марселе, откуда я постоянно сбегал, и отдали к иезуитам. Я хорошо помню, все началось зимним утром, когда меня накрыла тень нашего учителя, который расхаживал взад-вперед по классу, заложив руки в рукава сутаны...

«...Руан, февраль 1431-го.

В день судебного заседания с ног узницы, как обычно, сняли тяжелую деревянную колодку, но руки и щиколотки остались скованны кандалами, которые не снимали никогда.

Вытолкнув ее из темницы под ухмылки охранников в круглых касках двое англичан, вооруженных пиками, велели ей идти перед ними по длинным подземным коридорам.

Она отважно шла, выпрямившись, высоко подняв голову, одетая в темный мужской костюм, совсем детское лицо обрамляла очень короткая стрижка, кандалы волочились по земле. На шее у нее болтался железный крест, такие носят в Лотарингии, на его отшлифованной поверхности внезапно вспыхивало отраженное пламя далекого факела, прикрепленного к стене.

Она снова поднялась по этим скорбным ступеням. Увидела, как открылась дверь позорного судилища. Она вошла в зал, выбранный специально, чтобы скрыть ее подальше от людских глаз, и ей на мгновение пришлось зажмуриться, чтобы привыкнуть к яркому дневному свету, и было больно смотреть, в каком виде содержат ее эти мерзавцы. И все-таки она смело сделала эти последние шаги и встала одна перед лицом судей.

Они все собрались здесь – гнусный епископ Кошон, его доверенный Эстиве, по-собачьи ему преданный, и не меньше сорока ассессоров – их число ежедневно менялось – а также люди в военном и штатском платье, все жаждущие ее погибели, обозленные тем, что она внушала им ужас на поле брани и что по воле кардинала Винчестерского им пришлось платить поборы, чтобы выкупить ее. Все, кроме одного, о котором скоро пойдет речь.

В тот день епископ, наученный горьким опытом прошлого заседания, не стал сам допрашивать девушку, но поручил другому задать коварный вопрос, который мог стоить ей жизни:

– Жанна, вы уверены, что находитесь в состоянии благодати? На что она ответила просто, тихим и проникновенным голосом, которым прежде вселяла храбрость в славного дофина:

– Если я нахожусь вне благодати, пусть Господь мне ее пошлет; если я пребываю в ней, пусть он меня в ней хранит.

После этих слов по рядам вершащих суд прошел долгий шепот. Д’Эстиве не мог скрыть замешательства, а Кошон – ярости. Обретя радость оттого, что ответила так удачно, слегка удивленная Жанна огляделась и впервые встретилась глазами с лихорадочно горящим взглядом ее единственного сторонника в этом зале.

– Это было четвертое заседание суда, 24 февраля, суббота, если не ошибаюсь, – говорил этот человек, наделенный удивительной памятью. – В тот миг, когда глаза этой девушки, которые были не голубыми, как утверждают, а светло-карими с золотыми прожилками, остановились на мне, я понял, что отныне моя жизнь принадлежит ей и что до конца дней своих я буду защищать ее и буду верен клятве, принесенной на шпаге.

Пока что я был вынужден ждать, негодуя от охвативших меня нетерпения и жалости к ней. Когда у нее спросили, сколько ей лет, она ответила:

– Почти девятнадцать.

Столько же примерно было и мне, как я думал. Мне кажется, я уже был таким же высоким и крепким, как сейчас, но одет бедно – легко себе представить мальчика, выросшего без отца и добравшегося сюда пешком из далекого Прованса, имея за душой лишь пресловутую шпагу с выгравированным на ее рукоятке девизом, вселявшим бодрость духа:

MAJOREM DEI GLORIAM⁴

Попав двумя днями раньше в Руан, где были только англичане и бургундцы, я сумел проникнуть в замок, затесавшись среди монахов, закрыв лицо капюшоном плаща, как Эрол

⁴ К вящей славе Господней (лат.) – девиз Ордена иезуитов.

Флинт в фильме «Робин Гуд». Ночью я спал во дворе, питался тем, что подавали сердобольные служанки.

Я снова увидел Жанну на следующем допросе, и снова она заметила меня. Потом я приходил туда каждый день, смешавшись с толпой, и потому каждый раз сидел на другом месте, но ее взгляд тут же находил меня. В нем чувствовалось доверие, которое она испытывала ко мне, и хотя в тот момент я ничем не мог быть ей полезен, казалось, что одним своим присутствием я поддерживаю ее.

Увы, с 10 марта под каким-то ложным предлогом, с единственной целью причинить ей еще больше страданий, мерзавец Кошон изменил место проведения суда. Из ходивших слухов стало известно, что теперь он допрашивает ее в тюрьме в присутствии всего двух ассессоров и двух свидетелей.

Теперь, оказавшись разлученным с ней, я яснее, чем раньше, видел грозившую ей опасность, и мое бессилие было мне тем более отвратительно. Пренебрегая всякой осторожностью, я подделал письмо за подписью епископа, в котором узнице дозволялось принимать в камере каноника для исповеди. В тот же вечер я уже стучал в дверь донжона, в глубинах которого была заключена Жанна. Когда открывший мне охранник прочитал письмо и посторонился, пропуская меня внутрь, я понял, что я в руках Господних. Я спустился по ступеням, доверившись Ему, и оказался в сыром коридоре, где находился карцер.

Пятеро вооруженных стражей охраняли несчастную пленницу и днем и ночью, не давая ей покоя, но я знал об этом, как и все в замке, и чтобы предстать пред нею, выбрал тот час, когда их оставалось только трое, остальные двое, прихватив пять шлемов, отправились за супом.

Я снова показал подложное письмо. Сжимая под плащом шпагу, я слышал, как мерзавцы долго переговариваются, но не понимал их тарабарщину, поскольку знал лишь родной язык да немного латыни. Но я уже говорил, что само небо хранило меня. Стражник, у которого были ключи, распахнул дверь, отперев множество замков, и внезапно я оказался перед той, которая стала смыслом моей жизни.

Я до конца дней своих не забуду эту минуту. Вообразите себе темную камеру, по каменным стенам которой сочится вода, в углу топчан из неотесанного дерева, свет пробивается только из крошеного слухового окошка вровень с землей, выходящего в безлюдный двор. Юная уроженка Лотарингии, закованная в кандалы и одетая в мужской костюм, в котором я всегда ее видел, стояла под этим окошком, обратив свое красивое лицо к единственному кусочку неба, который был отсюда виден. Обернувшись при моем появлении, она с огромным облегчением улыбнулась мне. Я понял, что она все время ждала меня.

Я бросился к ее ногам, не заботясь о присутствии стражей, и воскликнул:

– Жанна, чтобы оказаться подле тебя, я преодолел отделяющую нас пропасть времени. Если судить по внешним приметам, я даже еще не родился, я появлюсь на свет только через пять столетий, но твои страдания так терзают меня, что я забыл, как сам прошел испытание карцером и отчуждение близких, и вопреки здравому смыслу хочу спасти тебя!

Мои речи Жанну вовсе не смутили, она положила свои закованные в цепи руки мне на плечи и сказала:

– Светлейший, светлейший монсеньор, мне известно то, о чем ты говоришь, я слышала голоса. Делай то, что угодно Господу.

Услышав это приказание, я поцеловал крест с двумя перекладинами, висящий у нее на шее, выпрямился, сбросив капюшон монаха, и обнажил перед ошеломленными стражами свою шпагу. Карцер был таким крошечным, что они не могли ни напасть на меня вдвоем, ни ловко манипулировать своими пиками. Я поспешил проломить череп первому, который погиб из-за того, что променял свой шлем на суп, и пронзить сердце второму, в отсутствие у него кольчуги. На мгновение я зашатался под тяжестью третьего, который орал как безумный, чтобы

поднять тревогу, пока я в отчаянном порыве не перебросил его через себя. Он упал навзничь, ударившись о стену, обливаясь кровью, и я проткнул его насквозь.

Не теряя ни секунды, я выхватил ключи у того, кого убил первым, освободил Жанну от кандалов. Наблюдая за резней, она все это время жалела души своих мучителей, приговаривая:

– Я ведь предупреждала, что они попадут в лапы дьявола!

Мы вышли из камеры. И сразу же возникла проблема – в какую сторону нам двигаться? Жанна взяла меня за руку своей нежной рукой и сказала:

– Смело пойдем тем же путем, по которому меня столько раз водили.

И мы бросились бежать по сплетению подземных коридоров, прорытых под замком. Хорошо, что мы бросились туда, поскольку, удалившись не дальше, чем на расстояние, равное броску копья, мы услышали, как по лестницам донжона за нами гонятся солдаты кардинала Винчестерского. И кровь стыла в жилах не столько от бряцанья их оружия, сколько от яростного лая собак, которых они тащили за собой.

Мы долго бежали, не переводя дыхания, сворачивая то вправо, то влево в лабиринте коридоров, которые на мгновение озарял свет факела, и я чувствовал, как, несмотря на свою смелость, слабела та, которую я любил больше всего на свете и чья рука покоилась сейчас в моей.

А потом внезапно мы оказались на развилке – с одной стороны мы увидели вдали отверстие, в которое проглядывало ночное небо, оно было достаточно широким, чтобы через него могла пролезть девушка, и я остановился, дрожа от волнения. Мне показалось, что лай собак и беспорядочное грохотанье солдатских сапог остались немного позади. Я тихо сказал Жанне:

– Иди туда и не заботься обо мне, прошу тебя об этом, насколько вправе тебя просить. А я отвлеку преследователей.

Ее красивое лицо стало грустным, казалось, оно говорило: «Нет, ни за что», но я осмелился и подтолкнул ее назад, тогда она отступила и оказалась в одном коридоре, а я – в другом.

В последний раз мы взглянули друг на друга. Ее глаза заволокло слезами, она сказала:

– Мой милый спутник, нежная любовь моя, да хранит тебя Господь, Он вершит нашими судьбами. Пусть в дополнение ко всем моим молитвам, которые я обращала к Нему, прося за наших храбрых и верных сынов Франции, Он дарует мне встречу с тобой в своем райском царстве.

Она повернулась и убежала, ее гигантская тень металась по стенам. Тогда, задыхаясь от нежности и отчаяния, я пожелал себе удачи и бросился со всех ног в противоположном направлении, преследуемый истошным лаем собак...»

В конце рассказа Тони перестал наигрывать на рояле. Я помню все так ясно, словно это было вчера. В тот вечер вокруг лампы собрались все те же – короче, Черная Зозо, Магали, Мишу и двойняшки, Мадам тоже подошла, и даже Джитсу подсел к нам. У всех просто дух перехватило от волнения. Какое-то время было слышно только тиканье часов, висящих в баре. У меня засвербело в горле, я с трудом сдерживалась, чтобы не пустить слезу.

Остальные тоже. Наконец Ванесса и Савенна хором прошептали:

– А дальше?

Тони поднял на нас глаза, еще погруженные в Средневековье. Пришлось подождать, пока вопрос дойдет до него, потом он произнес:

– Дальше? Дальше англичане не захотели лишиться достоинства! Проще было лишить ее жизни. *И они сожгли ее.*

И он положил руки на клавиши и заиграл оглушительно громко.

Несмотря на феноменальную память Белинды, я все же сомневаюсь, чтобы она одна, без посторонней помощи, смогла бы точно передать рассказ своего любовника, по крайней

мере, теми словами, как он изложен выше. Поскольку мне также пришлось услышать его в другое время, но из тех же уст, я взяла на себя смелость объединить наши воспоминания, чтобы как можно более точно восстановить эту историю. (Примечание Мари-Мартины Лепаж, адвоката суда.)

Как бы то ни было, я совсем потеряла от него голову, настолько, что уже начала подумывать, как все эти безмозглые тетки, о кольце на пальце, любовном гнездышке, приданом для новорожденного, банковском счете и все такое прочее. Когда я начинала озвучивать свои мечты, он, конечно, от радости не прыгал, но и морду мне не бил. Красавчик наверняка стер бы меня в порошок.

Я подсчитала, что еще два года мне придется покорно смотреть на балдахин над кроватью и только потом попроситься с подружками, чтобы превратиться в порядочную женщину. Не нужно было долго жить с Тони, чтобы понять, что ему больше всего нужно. Сходить в кино на фильм, а еще лучше на два, чтобы был смысл прогуляться, иначе он так и оставался сиднем сидеть и пухнуть в своем любимом кресле. Он просто сдвинулся на своем кино. Каждый день, в любую погоду, если мог уйти из дома, шел туда. В Сен-Жюльене был только один кинотеатр, и он готов был три раза подряд смотреть один и тот же фильм. Еще повезло, что тогда устраивали сдвоенные сеансы. Хотите верьте, хотите нет, я хоть туда с ним не ходила, но знаю все эти фильмы их наизусть. «Толпа ревет» с Робертом Тэйлором, «Рамона» с Доном Амичи и Лореттой Янг, «Мария-Антуанетта» с Нормой Шерер, «Меченая женщина» с Бэтт Дэвис, «Я преступник» с Джоном Гарфилдом и Луизой Рейнер в роли китаянки, это все актрисы, которые в криминальном кино играли, потом еще Дороти Ламур и Рэй Милланд на необитаемом острове, короче, целый роман можно написать. На рассвете, когда мы расходились по комнатам, он по-быстрому меня обрабатывал, но закончив, тут же принимался пересказывать мне фильмы, спрашивая: «Ты не спишь?», если я начинала дремать, а назавтра я ходила с мешками под глазами.

В свободное время я занималась его гардеробом, наглаживала рубашки – так, чтобы ни складочки, надраивала ботинки, бежала в город, когда замечала, что кончается пена для бритья или сигареты, короче, делала все то, что должна делать женщина для любимого мужчины. И вот вам результат: потеряла бдительность. Не поручусь, что кому-то из девушек не хотелось его у меня умыкнуть, может, даже он сам слишком долго пялился на ляжки красотки Люлю или на буфера Мишу, но это было невинно, нужно совсем рехнуться, чтобы подумать, будто он так отвечает на мое гостеприимство. Кстати, когда я сказала, что он пялится на недозволенное, я погорячилась, не мог же он себе глаза завязывать каждый раз, когда сталкивался в коридоре с полуголой девицей. Зачем тогда пускать его было в приличное заведение, разве что сразу же обзавестись белой тростью, как у слепого, и собакой-поводырем.

Да нет же. Он только в кино ходил один, а так – всюду со мной. По воскресеньям, как и Красавчик, водил меня обедать в «Открытом море», садились почти за тот же стол. Заказывали омара в белом вине, все точь-в-точь. После обеда гуляли под пальмами по берегу океана. Я шла позади, в метре от него, в шелковом платье, широкополой шляпе, под зонтиком, только другого цвета. Тони больше нравилось, когда я носила пастельные тона. Я шествовала за ним следом, как королева за королем, он был в белом костюме и соломенном канотье, грудь колесом, в зубах кубинская сигара, я прямо на мыло исходила только от одного его вида.

С ума можно сойти, особенно кто такого сам не испытывал – все то же, ничего нового, только вместо одного сердцееда – другой, и все так – да не так! Ну просто день и ночь, лицо и изнанка, клубничное мороженое и ванильное. И время тут роли не играет. Я прожила с Красавчиком целых два года, пока дорогая родина его не умыкнула. А нам с Тони, если меня послушать, вроде впору справлять золотую свадьбу. Нет, не тут-то было! С начала до самого

конца – всего четыре недели, точнее, двадцать шесть дней, а дальше у меня было полно времени их пересчитывать.

Тони тоже учил меня плавать. Сам он умел. И как раз во время такого урока все и случилось. Я сразу даже не поняла, что к чему, хотя в тот день небо было грозovým – словно предупреждало меня.

Мы оба были у меня в комнате, я улеглась на кушетку в трусиках и лаковых лодочках, имитировала движения брассом, как он показывал, а он из своего кресла руководил, покуривая сигару. Время от времени он говорил мне:

– Ровнее движения. Не торопись.

Он никогда не поднимал голоса, никогда не злился. И вот, значит, гребла я, как раб на галерах, молотила руками и ногами, выгнув спину, приподняв подбородок, глядя в замечательное будущее, когда наконец я смогу, под предлогом, что у меня месячные, получать настоящее удовольствие на пляже, а не только жариться на солнце и зарабатывать солнечные ожоги, когда внезапно раздался такой оглушительный грохот, что я чуть не сверзилась на пол. Тони ответил:

– Войдите!

Я решила, что он шутит, но дверь и вправду открылась, и в комнату ввалились несчастья, которых хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Это был Джитсу в компании какой-то девицы, которую я должна описать, иначе не поверить в то, что случилось потом, скажете, что я просто бессовестно вру. Общий вид: деревня деревней, ну просто село в чистом виде, захочешь, да не придумаешь такую. Приехала с какой-то фермы, это уж наверняка. Волосы немытые. Жутко грязные, потому как их у нее целая грива, и смоляные, как у цыганки. Глаза непонятно какие, уставилась в землю с таким видом, будто у нее только одно на уме – провалиться туда, чтобы ее вообще не видно было. Ей было то ли двенадцать, то ли двадцать, а может, и того больше. Косметики ноль, в каком-то старом пальто-балахоне, только ноги выглядывают. На самом деле она младше меня на три года, я потом узнала. К этой картине добавьте лодочки – лучше бы она надела вместо них любые бахилы, найденные на помойке, – допотопную соломенную шляпу, картонный чемодан, перевязанный веревкой, короче, прямо до слез прошибает. Поставить ее перед зеркалом в шкафу, точь-в-точь как в фильме «Две сиротки», но даже на нее одну смотреть было тошно.

Я так и застыла на своей табуретке в лягушачьей позе, а Тони разволновался, вскочил и бросился к Джитсу. Стал его без конца благодарить, а сам незаметно подталкивал к выходу, потом подпер закрытую дверь, чтобы тот не мог вернуться или чтобы птичка не улизнула, а так как я смотрела на все это, выпучив глаза, он сказал мне, прочистив горло:

– Хочу представить тебе Саломею. Она мне оказала большую услугу, а это для меня – святое.

Я поднялась, гордо выпятив грудь, но все-таки продолжала сомневаться, подошла поближе, чтобы лучше ее рассмотреть. Она как дикарка по-прежнему уставилась в пол, стоит посреди комнаты, как засохшая роза, а Тони вдруг расхрабрился, да еще как:

– Хотел сделать тебе сюрприз. Она будет тебя подменять, денег нам заработает! Знаешь что, Белинда? Мы свое кино тогда быстрее купим, только ты ее подучи!

Я просто задохнулась. Даже сутенер моей подружки из Перро-Гирека, когда пытался запудрить мне мозги, и то из кожи вон лез: сперва выгуливал на машине добрых три часа, потом покупал мороженое, по два шарика в рожке, показывал фотографию своей бедной мамочки, плел всякие тягомотные байки, так что когда в конце концов я ему отказала, то и впрямь почувствовала себя невинной девушкой. Могу сказать, что до сих пор Тони не слишком был склонен к транжирству, принимал как личное оскорбление, когда я совала ему в карман два

луидора⁵, если он шел в кино. Нужно признать, что к хорошему быстро привыкаешь, или чем меньше знаешь, тем больше наглеешь. Короче, не успела я очухаться, как слышу:

– Ладно, если не хочешь, не будем ее брать.

И тон такой сухой, недовольный, ни дать ни взять – судебную повестку принесли.

Подошел к шкафу, достал белую рубашку-поло, брюки и мокасины – все, во что был одет в первый вечер, и вывалил их на кровать. Я спрашиваю:

– Ты что делаешь?

Ответа нет, только дождь барабанит по окнам. Снял свой махровый халат. Натянул брюки. Я повторила, будто и так непонятно:

– Тони, ну прошу тебя, что ты делаешь?

Он посмотрел на меня, застегивая брюки:

– Спасибо тебе за все, Белинда. Всегда буду жалеть, что потерял тебя. Ну не могу я жить в этом... этом...

Не сумел найти подходящего слова, чтобы выразить, как это ему мерзко. Просто сказал:

– Да еще два года или три, или, глядишь, и того больше! Не выдержу! Точно не выдержу!

Черт возьми, у него даже слезы выступили, честное слово. Он отвернулся, чтобы надеть рубашку.

Сколько я ни вглядывалась в глаза этой придурочной, чтобы хоть понять, что же такое мне привалило, но эта дубина стояла, как пришитая. Могла бы что угодно вякнуть: что не хотела беспокоить, что зашла узнать, как дела, или просто пописать, нет, молчит. А смотрите, он-то до чего хитер! Повернулся спиной и таким голосом, словно сам не надеется, но, мол, чем черт не шутит, говорит:

– Ведь я все, как следует, просчитал. Как только Бонбоньерка освободилась, я подумал о Лизон.

Я знала, как это перевести: Бонбоньерка – это комната Эстель, хохотушки, которая уехала от нас в воскресенье в Гавр в расстроенных чувствах, там у нее остался ребеночек с кормилицей. Вторая загадка была попроще: у этой застенчивой дылды было имя, как у нормальных людей, звали ее Элиза.

Я подошла к нему сзади, обняла. Прижалась лбом к его спине и нежно спросила:

– Кто такая Саломея?

Он понял, что я готова говорить с ним, и присел, улыбаясь до ушей, на край кровати. Он сказал:

– Танцовщица. Из Библии. Она хотела получить голову одного типа, который орал в пустыне и питался саранчой. Есть такой фильм. – И тут же добавил: – Тебе достаточно только словечко замолвить Мадам, она тебе ни в чем не откажет.

Я посмотрела на Лизон, медленно подошла к ней, стараясь соображать побыстрее. Без пальто фигурой она скорее походила на мешок с картошкой, я бы на нее и гроша ломаного не поставила. И потом, я тоже считала, что сама не промах. Я наклонилась, чтобы посмотреть прямо ей в глаза. Черные, упрямые, скрытные. Я спросила, наверное, только, чтобы услышать ее голос:

– А ты что сама-то думаешь на этот счет?

И тут-то она меня и поимела, на моей могиле можно теперь написать: «Дебилка». Она ответила, глазом не моргнув, нежно-нежно, дуновение ветерка, да и только:

– Всю жизнь мечтала стать проституткой.

Тогда я пошла к своей кушетке и плюхнулась на живот, стала делать вид, что плаваю брассом, чтобы скрыть растерянность, потом перестала и вздохнула:

⁵ Луидор – монета достоинством 20 франков.

– Ну если только подменять меня и делить на троих, можно попробовать. Скажем, неделю?

Ну что, все понятно? Секунда – и все летит к чертовой матери. Не успела я рта закрыть, как сиротинушка наконец посмотрела на меня одним глазом, только одним, но такого острого и лживого взгляда я отродясь не видела. Когда она сняла свою хламиду, я дала себе слово, что никогда не буду больше покупать kota в мешке, и посоветовала Тони пойти пройтись. Когда я сняла с нее передник, надетый на голое тело, у меня первый раз появилось сомнение насчет того, какие услуги она могла оказывать отнюдь не слепому пианисту. Про мои щедроты говорить не будем: ванна, мытье головы шампунем, лавандовое мыло, мои духи, моя косметика, все мое, вплоть до зубной щетки. Когда я предложила дать ей белье, она ответила:

– Спасибо, у меня есть.

Развязала веревку на своем чемодане – замечу походя, что по ее рукам не похоже, чтобы она ковырялась в земле, – и достала оттуда бальное платье из тончайшего шелка телесного цвета, один в один с тоном ее кожи, и туфли того же оттенка на высоком каблуке. Такое надешь – все равно что голая. Я спросила ее:

– Откуда у тебя это?

Она ответила: – Да так, проезжали тут одни мимо...

А так как мне хотелось продолжить эту тему, чтобы отложить ее дебют хотя бы до завтра, я сказала:

– Надо поговорить с хозяйкой. Ладно, я сама разберусь.

Клянусь, мужики – совсем сдвинутые. Тони тоже, наверное, сдвинутый, если считал, что эту мерзавку придется чему-то обучать. С самого же первого вечера можно было подумать, глядя на гостей, выходивших из ее комнаты (только из уважения к бедной Этель не говорю «притона»), будто они повидали самого черта. Они спускались вниз, к свету, стараясь никому не попадаться на глаза. Ничего, слышите, ничего ее не отпугивало – ни как, ни сколько. Уж точно хотя бы раз за ночь она устраивала комбинацию «три карты», как в покере, и Мадам, которой как-то после долгих уговоров раскололся один из постоянных гостей, сказала нам – мне и черной Зозо:

– Оказывается, бывает такое, о чем я даже понятия не имела.

К тому же могу поручиться, эта Лизон вовсе не прикидывалась, что находится наверху блаженства. Достаточно было на нее посмотреть, когда она выходила с поля битвы на площадку второго этажа в своем длинном прозрачном платье: глаза горят, влажная челка прилипла ко лбу, а гордая... что твоя императрица. У меня сразу – как мороз по коже. В зловещей тишине она медленно спускалась в гостиную – ступенька за ступенькой – ни на кого не глядя, будто ее притягивал рояль. Если Тони еще не вышел покурить, клянусь моей собачьей жизнью, она доставала сигарету «Кэмел» из его пачки, щелкала зажигалкой Картье, которую я любовно выбрала для него в Руайане, прикуривала и, измазав до половины губной помадой, вставляла ему в зубы. И все это, черт возьми, с такими ужимками, что прямо тошно смотреть, потому что кто-то ей сказал, что она похожа на Хеди Ламарр. Кроме того, она знала, что я не свожу с нее глаз.

Потом она шептала ему что-то на ухо, не упуская случая потереться о его щеку, и он внезапно переходил на другую мелодию. Начинал играть что-то похожее на болеро, эту музыку вместе со всякими колдовскими приемчиками она хранила в своей башке – *Напрасно стараться, это и так возможно*. И тогда она начинала танцевать в одиночку перед ним и для него, и все расступались и смотрели на нее, как на полоумную. Она поднимала руки, расставляла ноги, крутила животом и задницей, трясла своей черной гривой: не мне говорить, как это все мерзко выглядело. Конечно, от этого зрелища мне не грозило превратиться в истукана, но хоть я и женщина и в религии ни бум-бум, мне все равно казалось, что это отвратно, как смертный грех.

Сказать, что я ревновала, – значит ничего не сказать. Она из кожи вон лезла, чтобы довести меня до белого каления. Когда она приходила ко мне в комнату отдать Тони свою выручку, то называла меня «старой». Я заметила, что через месяц мне стукнет всего двадцать четыре. Она ответила:

– Я хотела сказать «бывшая».

И хоть я не из склочных, но вцепилась ей в космы и выдрала клоч. Не вмешайся Тони, ходить бы ей лысой. Потом, на третий день, она назвала меня «каланчой», но с дураками лучше не связываться.

С ней-то проблем не было – называй Саломеей, иначе вообще не отзовется.

Как бы то ни было, она нарочно отдавала свои бабки не мне, а Тони. Причем все – чем она действительно не страдала, так это жадностью. С первого же дня она возражала – потому что и он, и я, мы оба хотели, чтобы она оставляла себе положенное:

– Уже достаточно, что меня кормят задарма.

Не сойти мне с этого места. Но при этом спрашивала, сколько я заработала, хотела показать, что срубила больше. Я могла бы ей о многом рассказать – главное, что прелесть новизны ненадолго, все закончится быстро, как рулон туалетной бумаги, но я девушка не вульгарная, к тому же по-любому ее выручка шла в общий котел, а деньги не пахнут, когда достаешь их из кубышки. Пусть обслуживает за раз кучу клиентов, скоро уже не разберешь, где она, а где подстилка.

А потом, бесили-то меня не ее уловки, а перемены, которые я замечала в Тони, но ничего не могла с этим поделать. Когда мы с ней собачились, он не знал, чью сторону принимать. Когда мы с ним оставались вдвоем, он избегал моего взгляда. Когда я целовала его в шею, как она, он тут же отстранялся. Ну а про постель вообще говорить нечего. Настаивать я боялась. Каждое утро в ту чертову неделю я перед сном ревела, уткнувшись носом в подушку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.